

СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Тридцатая катогофия рассудка*



Сигизмунд Кржижановский

**Тринадцатая категория рассудка**

## **Кржижановский С. Д.**

Тринадцатая категория рассудка / С. Д. Кржижановский —  
«Public Domain»,

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

## Содержание

Клуб убийц Букв	5
I	5
II	10
III	21
IV	31
V	48
VI	60
VII	64
Возвращение Мюнхгаузена	66
Глава I	66
Глава II	71
Глава III	79
Глава IV	84
Глава V	86
1	86
2	88
3	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

# Сигизмунд Кржижановский

## Тринадцатая категория рассудка

### Клуб убийц Букв

#### I

– Пузыри над утопленником.

– Как?

Треугольный ноготь – быстрым глиссандо – скользнул по вспучившимся корешкам, глядевшим на нас с книжной полки.

– Говорю, пузыри над утопленником. Ведь стоит только головой в омут, и тотчас – дыхание пузырями кверху: вспучится и лопнет.

Говоривший еще раз оглядел ряды молчаливых книг, стеснившихся вдоль стен.

– Вы скажете – и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зеленое качание прибрежья. Пусть так. Но тому, кто уже ртом в дно: нужно ли это ему?

И вдруг, будто наткнувшись на какое-то слово, он встал и, охватив пальцами локти, оттянутые к спине, зашагал от полки к окну и обратно, лишь изредка проверяя глазами мои глаза:

– Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше, это оттого, что в жизни одним человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир. Пузырями к дню – собой к дну? Нет, благодарю покорно.

– Но ведь вы же, – попробовал я робко не согласиться, – ведь вы же дали людям столько книг. Мы все привыкли читать ваши...

– Дал. Но не даю. Вот уж два года: ни единой буквы.

– Вы, как об этом пишут и говорят, готовите новое и большое...

У него была привычка недослушивать:

– Большое ли – не знаю. Новое – да. Только те, кто об этом пишут и говорят, это-то я твердо знаю, не получают от меня больше ни единого типографского знака. Поняли?

Мой вид, очевидно, не выражал понимания. Поколебавшись с минуту, он вдруг подошел к своему пустому креслу, пододвинул его ко мне, сел, почти коленями к коленям, пылливо глядя в мое лицо. Секунда за секундой мучительно длиннились от молчания.

Он искал во мне что-то глазами, как ищут в комнате *свою* забытую вещь. Я резко поднялся:

– Вечера суббот у вас – я замечал – всегда заняты. День к закату. Я пойду.

Жесткие пальцы, охватив мой локоть, не дали подняться:

– Это правда: свои субботы я, то есть мы запираем от людей на ключ. Но сегодня я покажу вам ее: субботу. Оставайтесь. Однако то, что будет вам показано, требует некоторых предварений. Пока мы одни – сконспектирую. Вам вряд ли известно, что в молодости я был выученником нищеты. Первые рукописи отнимали у меня последние медяки на оклейку их в бандероль и неизменно возвращались назад, в ящики стола, – трепанные, замусленные и избитые штемпелями. Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов, в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка – в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв. Обычно печка была без дров, а я без пищи. Но к книгам я относился почти религиозно, как иные к образам: продавать их... даже мысль эта не приходила мне в голову, пока, пока... ее не форсировала телеграмма: «Субботу мать скончалась. Присутствие необходимо. Приезжайте». Телеграмма напала на мои книги утром; к вечеру – полки были пусты, и я мог сунуть

свою библиотеку, превращенную в три-четыре кредитных билета, в боковой карман. Смерть той, от которой твоя жизнь, – это очень серьезно. Это всегда и всем: черным клином в жизнь. Отбыв похоронные дни, я вернулся назад – сквозь тысячеверстье – к порогу своего нищего жилья. В день отъезда я был выключен из обстановки, – только теперь эффект пустых книжных полок доощутился и вошел в мысль. Помню, раздевшись, я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате – как я уже сказал – только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет – ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по оголенным доскам полок. Казалось, какая-то еле ощутимая жизнь – робкими проступами – зарождалась там, в бескнижье.

Конечно, все это была игра на перетянутых нервах – и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука – двигаясь автоматически – потянулась к книжным корешкам: вместо них – воздух, еще и еще. Я с досадой всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бескнижие, стараясь – напряжением памяти – увидеть нужную мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплета дергались из стороны в сторону, и вместо нужной строки получалась пестрая россыпь слов, прямо строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст.

Перед вечером, отдыхая от работы, я любил, вытянувшись на кровати, с увесистым томом Сервантеса в руках, прыгать глазами из эпизода в эпизод. Книги не было: я хорошо помню – она стояла в левом углу нижней полки, прижавшись своей черной кожей в желтых наугольниках к красному сафьяну кальдероновских «Аутос». Закрыв глаза, я попробовал представить ее здесь рядом со мной – меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними – при помощи зажатых век и сконцентрированной воли). Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память обронила буквы – они спутались и скользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: иные слова возвращались, другие – нет. Тогда я начал заращивать пробелы, вставляя в межсловия свои слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза, комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы комнате и полкам.

У меня в то время было много досуга, – и я все чаще и чаще стал повторять игру с пустотой моих обескнижевших полок. День вслед дню – они зарастали фантазмами, сделанными из букв. У меня не было ни денег, ни охоты ходить теперь за буквами к книжным ларям или в лавки букинистов. Я вынимал их – буквы, слова, фразы – целыми пригоршнями из себя: я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплеты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму, – заполняя покорную пустоту, вбивавшую внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал. И однажды, когда какой-то случайный гость, пришедший возвратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к полке, я остановил его: «Занято».

Гость мой был такой же бедняк, как и я: он знал, что право на чудачество – единственное право полуголодных поэтов... Спокойно меня оглядев, он положил книгу на стол и спросил, согласен ли я выслушать его поэму.

Закрыв за ним и за поэмой дверь, я тотчас же постарался убрать книгу куда-нибудь подальше: вульгарные золотые буквы на вспучившемся корешке расстраивали только-только налаживавшуюся игру в замыслы.

По параллели я продолжал работу и над рукописями. Новая пачка их, посланная по старым адресам, к моему искреннейшему удивлению, не возвратилась: вещи были приняты и напечатаны. Оказывалось: то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски книги, было достигнуто при помощи трех кубических метров воздуха. Теперь я знал, что делать: я

снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж черных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила, превращал их в рукописи, рукописи – в деньги. И постепенно – год за годом – имя мое разбухало, денег было все больше и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно: пустота их, я бы сказал, еще более раздражалась, превращалась в обыкновенный воздух.

Теперь, как видите, и нищая комната моя разрослась в солидно обставленную квартиру. Рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой я снова забил книжным грузом, стали просторные остекленные шкапы – вот эти. Инерция работала на меня: имя таскало мне новые и новые гонорары. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отмстит. В сущности, писатели – это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери – занесенный над ними бич. Или еще точнее: слышали вы об изготовлении так называемых каракульча? У поставщиков этого типа своя терминология: выследив путем хитроумных приемов узор и завитки на шкурке нерожденного ягненка, дождавшись нужного сочетания завитков, нерожденного убивают – прежде рождения: это называется у них «закрепить узор». Так и мы – с замыслами: промышленники и убийцы.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они требовали еще и еще. Пьянея от чернил, я готов был – какой угодно ценой – форсировать новые и новые темы. Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то я и решился искусственно возбудить ее, прибегнув к старому испытанному средству. Я велел очистить одну из комнат квартиры... но пойдемте, будет проще, если я это покажу.

Он поднялся. Я вслед. Мы прошли анфиладой комнат. Порог, еще порог, коридор – он подвел меня к запертой двери, скрытой портьерой (под цвет стены). Звонко щелкнул ключ, потом – выключатель. Я увидел себя в квадратной комнате: в глубине, против порога, камин; у камина полукругом семь тяжелых резных кресел; вдоль стен, обитых темным сукном, ряды черных, абсолютно пустых книжных полок. Чугунные щипцы, прислонившиеся ручкой к каминной решетке. И все. По беззвучащему шагу безузорному ковру мы подошли к полукругу кресел. Хозяин сделал знак рукой:

– Присядьте. Вас удивляет, почему их семь? Вначале здесь стояло лишь одно кресло. Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок. Я просил у этих черных деревянных каверн тему. Терпеливо, каждый вечер, я запирался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблескивая черным гляncем, мертвые и чужие, они не хотели отвечать. И я, испрофессионализировавший себя дрессировщик слов, уходил назад к своей чернильнице. Как раз в это время близились сроки двум-трем литературным договорам: писать было *не из чего*.

О, как ненавистны казались мне в то время все эти люди, потрошащие разрезальными ножами свежую книжку журнала, окружившие десятками тысяч глаз мое исстеганное и загнанное имя. Вспомнился – сейчас вот – крохотный случай: улица, на обмерзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для калош; и тотчас же мысль: а ведь – и моим буквам, и его – один путь: «под подошвы».

Да, я чувствовал и себя, и свою литературу затоптанными и обесмысленными, и, не помоги мне болезнь, здоровый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго выключила меня из писательства: бессознательное мое успело отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню – когда я, еще физически слабый и полувключенный в мир, открыл – после долгого перерыва – дверь этой черной комнаты и, добравшись до этого вот кресла, еще раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но – все же, все же – заговорила, – согласилась заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни!

Вы понимаете, для меня это было такое... (Пальцы говорившего наткнулись на мое плечо – и тотчас же отдернулись.)

– Впрочем, мы с вами не располагаем временем для лирических излияний. Скоро сюда придут. Итак, назад к фактам. Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ, и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фантазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру – стали заполнять вот эти полки. Взгляните сюда – нет, правей, на средней полке, – вы ничего не видите, не правда ли, а вот я...

Я невольно отодвинулся: в острых зрачках говорившего дрожала жесткая, сосредоточенная радость.

– Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильнице и вернуться назад в царство чистых, неовеществленных, свободных замыслов. Иногда, по старой вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки пробраться под карандаш: но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писательскими повадками. Слыхали ль вы о так называемых *Gardinetti di S. Francisco* – садах св. Франциска? В Италии мне не раз приходилось посещать их: крохотные цветники эти в одну-две грядки, метр на метр, за высокими и глухими стенами – почти во всех францисканских монастырях. Теперь, нарушая традиции св. Франциска, за серебряные сольди разрешают оглядеть их, и то лишь сквозь калитку, снаружи: прежде не разрешалось и этого – цветы могли здесь расти – по завещанию Франциска – не для других, а для себя: их нельзя было рвать и пересаживать за черту ограды; не принявшим пострига не разрешалось – ни ногой, ни даже взглядом касаться земли, отданной цветам: исключенным из всех касаний, защищенным от зрачков и ножниц, им дано было цвести и благоухать *для себя*.

И я решил – пусть это не кажется вам странным – насадить свой, защищенный молчанием и тайной, отъединенный сад, в котором бы всем замыслам, всем утонченнейшим фантазмам и чудовищнейшим измыслам, вдали от глаз, можно бы было прорасти и цвести – *для себя*. Я ненавижу грубую кожуру плодов, тяжело обвисающих книзу и мучающих, иссушающих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном саду было вечное, неоппадающее и нерождающее сложноцветение смыслов и форм! Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей и чужие *не-мои* мысли. Нет, в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями.

На минуту он замолчал и пристально разглядывал дубовые спинки кресел, которые, став в полукруг около говорившего, казалось, внимательно вслушиваются в его речь.

– Понемногу из мира пишущих и читающих – сюда, в безбуквие, стали сходиться избранные. Сад замыслов для всех. Нас мало и будет еще меньше. Потому что бремя пустых полок тяжело. И все же...

Я попробовал возражать:

– Но ведь вы отнимаете, как вы говорите, буквы не только у себя, но и у других. Я хочу напомнить о протянутых ладонях.

– Ну, это... знаете, Гёте как-то объяснял своему Эккерману ну, что Шекспир – непомерно разросшееся дерево, глушащее – двести лет кряду – рост всей английской литературы; а о самом Гёте – лет тридцать спустя – Берне писал: «Рак, чудовищно расплзшийся по телу немецкой литературы». И оба были правы: ведь если наши обуквления глушат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают даже *замышлять*. Читатель, я бы сказал, *не успевает* иметь замыслы, право на них отнято у него профессионалами слова, более сильными и опытными в этом деле: библиотеки раздавили читателю фантазию, профессиональное писание малой кучки пишущих забило и полки, и головы до отказа. Буквенные излишки надо истребить: на полках и в головах. Надо опростать от чужого хоть немного

места для *своего*: право на замысел принадлежит всем: и профессионалу, и дилетанту. Я принесу вам восьмое кресло.

И, не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты.

Оставшись один, я еще раз оглядел черный, с полками, подставленными под пустоту, глушащий шаги и слова изолятор. Недоуменное и настороженное чувство прибывало во мне, что ни миг: так себя чувствует, вероятно, подвергаемое вивисекции животное. «Зачем я ему или им, что нужно их замыслам от меня?» И я твердо решил тотчас же выяснить ситуацию. Но когда дверь раскрылась, на пороге уже было двое: хозяин и какой-то очкастый, с круглой, под рыжим ежом, головой: привалившись вялым, будто бескостным, телом на палку, он с порога разглядывал меня сквозь свои круглые стекла.

– Дяж, – представил хозяин.

Я назвал себя.

Вслед за вошедшим на пороге появился третий: это был короткий сухой человечек с двигающимися желваками под иглами глаз, с сухой и узкой щелью рта, хозяин обернулся навстречу третьему:

– А, Тюд.

– Да, я, Зез.

Заметив недоумение в моих глазах, тот, кого называли Зез, весело рассмеялся:

– После нашей беседы вам нетрудно будет понять, что писательским именам *здесь* (выделил он последнее слово) делать нечего. Пусть остаются на титулблаттах: вместо них каждому члену братства дано по так называемому бессмысленному слогу. Видите ли, был некий чрезвычайно ученый профессор Эббингауз, который, исследуя законы запоминания, прибегал к системе «бессмысленных слогов», как он их называл: то есть попросту он брал любую гласную и приставлял к ней, справа и слева, по согласной; из изготовленного таким образом ряда слогов отбрасывались те, в которых была хотя бы тень смысла: остальное – мнемологу Эббингаузу пригодились для изучения процесса запоминания, нам же скорее для... ну, это не требует комментариев. Где же, однако, наши замыслители? Время бы.

Будто в ответ, в дверь постучали. Вошли двое: Хиц и Шог. Немного погодя в дверях появился, астматически дыша и отирая пот, еще один: кличка его была Фэв. Оставалось пустым лишь одно кресло. Наконец, вошел и последний: это был человек с мягко очерченным профилем и крутым скосом лба.

– Вы запаздываете, Рар, – встретил его председатель. Тот поднял глаза, они глядели отрешенно и будто издалека.

## II

С минуту длилось молчание. Все смотрели, как Шог, присев на корточки, разводил в камине огонь. Следя за медленными, будто проделывающими какой-то ритуал, движениями Шога, я успел разглядеть его: он был значительно моложе всех собравшихся; блики, заплывавшие вскоре на его лице, резко выделили капризную линию его яркого рта и чутко вздрагивающее вздутие ноздрей. Когда дрова в камине, разыскрясь, засычали, председатель, взяв в руки чугунные щипцы, ударил ими о каминные прутья:

– Внимание. Семьдесят третья суббота Клуба убийц букв открыта. – Затем, делая тот же ритуал, он подошел неспешными шагами к двери: дважды щелкнуло. В протянутой руке Зеза сверкнула бородчатая сталь:

– Рар: ключ и слово.

После паузы Рар заговорил:

– Мой замысел четырехактен. Заглавие: «Actus morbi».

Председатель насторожился:

– Виноват. Это пьеса?

– Да.

Брови Зеза нервно дернулись:

– Так и знал. Вы всегда, будто нарочно, нарушаете традиции клуба. Сценизировать – значит вульгаризировать. Если замысел проектируется на театр, значит, он бледен, недостаточно... оплодотворен. Вы всегда норовите выскользнуть сквозь замочную скважину – и наружу: от углей камина – к огням рампы. Остерегайтесь рампы! Впрочем, мы ваши слушатели.

Лицо человека, начавшего рассказ, не выражало смущения. Прерванный, он спокойно отслушал тираду и продолжал:

– Всемирно известный персонаж Шекспира, поднявший вопрос о том, так ли легко играть на душе, как на флейте, отбрасывает затем флейту, но душу оставляет. Мне. Все-таки тут есть некое сходство: чтобы добиться у флейты предельно глубокого тона – нужно зажать ей все ее отверстия, все ее оконца в мир; чтобы вынуть из души ее глубь, надо тоже, одно за другим, закрыть ей все окна, все выходы в мир. Это и пробует сделать моя пьеса; и, следуя терминологии, выбранной Гамлетом, следовало бы сказать, что мой «Actus morbi» не в стольких-то актах, а в стольких-то позициях.

Теперь об изготовлении моих персонажей. В том же «Гамлете» есть один давно уже заинтересовавший меня двойной персонаж, напоминающий органическую клетку, разделившуюся на две не вполне отшнуровавшиеся, как называют это биологи, дочерние клетки. Я говорю о Гильденштерне и Розенкранце, существах, не представимых порознь, врозь друг от друга, являющихся – в сущности – одной ролью, расписанной по двум тетрадкам... и только. Процесс деления, начатый триста лет тому назад, я пробую протолкнуть дальше. Подражая провинциальному трагику, ломающему – эффекта ради – флейту Гамлета пополам, я беру, скажем, Гильденштерна и разламываю это полусущество еще раз надвое: Гильден и Штерн – вот уже два персонажа. Имя Офелия и смысл, в нем сочтенный, я беру то в плане трагедии – *Фелия*, то в комедийном плане – *Феля*. Понимаете ли, ввивая в косы то венки из горькой руты, то бумажные папилотки, можно двойить и это.

Итак, для начала игры, для первой позиции пьесы, у нас уже четыре фишки: двигая ими по воображаемой сцене, как шахматист, играющий не глядя на доску, я получаю следующее...

На секунду Рар оборвал речь. Его длинные и белые, почти сквозистые пальцы, прощупывали что-то сквозь воздух, как бы испытывая лепкость материала.

– Как это говорят: «Сцена представляет...» Ну, одним словом, молодой актер Штерн заперся наедине со своей ролью. Роль угадывается и без монологов: на спинке кресла черный плащ; на столе – среди книжных ворохов и портретов эльсинорского принца – черный берет со сломанным пером. Тут же пиджак и подтяжки. Штерн, небритый, со следами бессонницы на лице, шевелит острием шпаги приопущенную занавеску окна.

– Мышь.

Стук в дверь. Продолжая фиксировать растревоженную шпагой занавеску, левой рукой снимает болт с двери. На пороге *Феля*.

Мы с вами видим ее: миловидное личико с ямками, прыгающими на щеках, – существо, которое в пьесах всегда любят двое и от психологии которого требуется одно: из двух выбрать одного. Но Штерн не видит вошедшую и снова за свое:

– Мышь!

*Феля в испуге приподымает юбку. Диалог.*

*Штерн (не оборачиваясь на крик Фели).* Напрасен крик. Молчи. И рук ломать не надо.

Гляди: сейчас твоё сломаю сердце.

*Отдергивает занавеску. На подоконнике, вместо Полония, примус и пара пустых бутылок.*

Король из тряпок и лоскутьев,  
Глупец, всю жизнь болтавший без умолку.  
Пойдем. Ведь надобно ж с тобой покончить.

*В дверях сталкивается с Фелей.*

*Феля.* Куда ты? Без пиджака на улицу. Проснись!

*Штерн.* Ты? О Феля, я... если бы ты знала...

*Феля.* Я знаю свою роль назубок. А вот ты – смешной путаник. Брось свои ямбы – ведь мы не на сцене.

*Штерн.* Ты уверена в этом?

*Феля.* Только, пожалуйста, не начини меня разуверять. Если бы тут были зрители, я бы не сделала вот так (*став на цыпочки, целует его*). Ну что, и это не разбудило?

– Милая.

– Наконец-то: первое слово не из роли.

Засим я перестаю вертеть любовную шарманку: вам важно знать, что сейчас Фелия ближе к Штерну, чем к Гильдену, его сопернику и дублеру; что она хочет ему победы в борьбе за роль. Так или иначе, в обгон диалогу, удостоверяю: разворачиваясь, он придвигает фишку к фишке, Штерна к Феле. Отсюда ремарка: скобка, поцелуй, закрыть скобку, точка. На этот раз и для Штерна – не сквозь роль – а в полной яви. Вглядитесь. А теперь переведите взгляд чуть влево. Дверь, брошенная полуоткрытой, распахивается; на пороге – *Гильден*.

*Гильден (улыбаясь, в меру злобно).* Зрители излишни. Удаляюсь.

Но влюбленные, разумеется, удерживают Гильдена. Минута смущенного молчания.

*Гильден (перебирает разбросанные повсюду книги).* Роль, я вижу, не так податлива, как... (*взгляд в сторону Фелии*). «Шекспир». «О Шекспире». Гм, опять Шекспир. Кстати, сейчас в трамвае простец какой-то, заметив роль, торчащую у меня из кармана, и желая сделать мне приятное, спросил: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно быть, и пьес-то этих самых...» – И смотрит на меня этак идиотически-любопытательно.

*Феля хохочет. Штерн остается серьезен.*

*Штерн.* Простец-то простец, но... что ты ему ответил?

*Гильден.* Ничего. Трамвай остановился. Мне надо было выходить.

*Штерн.* Видишь ли, Гильден, еще недавно мне твой пустяк показался бы только смешным. Но после того, как вот уж третью неделю быюсь над тем, чтоб засуществовать в несуществовании, ну как бы тебе сказать, чтобы вжиться в роль, у которой, скажете вы, нет своей жизни, я осторожно обращаюсь со всеми этими «быть» и «не быть». Ведь между ними только одно *или*. Всем дано выбирать. И иные уже выбрали: одни – борьбу за существование; другие – борьбу за несуществование; ведь линия раппорта, как таможенная черта: чтоб переступить ее, чтоб получить право находиться там, по ту сторону ее огней, надо уплатить кое-какую пошлину.

*Гильден.* Не понимаю.

*Штерн.* А между тем понять – это еще не все. Надо и решиться.

*Фелия.* И ты?..

*Штерн.* Да. Я решился.

*Гильден.* Чудак. Рассказать Таймеру – вот бы посмеялся. Хотя пока что наш патрон не проявляет особого веселья. Вчера, когда ты опять пропустил репетицию, он поднял целую бурю. Я затем и зашел к тебе, чтобы предупредить, что если ты и сегодня будешь «несуществовать» на репетиции, то Таймер грозил...

*Штерн.* Знаю. Пусть. Мне не с чем, понимаешь, не с чем; точнее – не с кем идти на вашу репетицию. Пока роль не придет ко мне, пока я ее не увижу вот здесь, как вижу сейчас тебя, мне нечего делать на ваших сборах.

*Фелия умоляюще смотрит, но Штерн, точно провалившись в себя самого, не видит и не слышит.*

*Гильден.* Но ведь должна же быть проверка извне: сначала глаза режиссера, затем зрителя...

*Штерн.* Чепуха. Зрители: да если б их шубы, развешанные по номеркам, сняв с крючьев, рассадить по креслам, а зрителей развешать по гардеробным крючкам, – искусство б от этого не пострадало. Режиссер, глаз режиссера – так ты, кажется, сказал: я бы его выколол – из театра. К дьяволу! Актеру нужны глаза его персонажа. Только. Вот если б сейчас сам Гамлет пришел сюда и, отыскав зрачками зрачки, сказал бы мне... знаете что, друзья, не сердитесь, но мне надо работать. Рано или поздно я дозовусь его, и тогда... Уходите.

*Гильден.* Однако, Фелия, он с нами заговорил действительно тоном принца. Только и остается – уйти. Тем более что через четверть часа начнется.

*Фелия.* Штерн, милый, пойдем с нами.

*Штерн.* Оставьте меня. Прошу вас. И у меня сейчас... начнется.

Штерн остается один. Некоторое время он сидит без движения, как вот я. Потом (Рар резким движением протянул руку к затененной пустоте книжных полок: глаза слушающих повернулись туда)... потом... он берет книгу – первую попавшуюся. Конспектирую монолог.

*Штерн.* Итак, попробуем. Действие второе, сцена вторая: «Заговорю с ним опять». Ко мне: «Что вы читаете, принц?» Слова, слова, слова. О, если б дано было знать: какие слова были в *той* книге. Если б: ведь тут узел смыслов. «Но о чем они говорят?» – «С кем?»

В это время – вы замечаете ее? Там, на пороге, беззвучно возникнув в сумерках вечерней комнаты, появляется *Роль*: она точно, но сквозь муть, как отражение в дешевом зеркале, повторяет собой актера. Штерн, сидящий спиной к дверям, не замечает Роли, пока она, подойдя к нему сзади, не прикоснулась рукой к плечу.

*Роль.* Послушайте, вы хотели узнать слова книги, которую я имею обыкновение вот уже триста двадцатый год кряду перелистывать во второй сцене второго акта? Что ж, слова эти можно бы вам, пожалуй, ссудить – разумеется, не даром.

Черный фантом успел уже бесшумно вдвинуться в пустое кресло против Штерна: с минуту актер и Роль пристально всматриваются друг в друга.

*Штерн.* Нет. Это не то. Я представляю своего Гамлета иначе. Вы, простите меня, жухлый и линялый. А я хочу не так.

*Роль (флегматически).* И тем не менее *сыграете* меня – именно так.

*Штерн (мучительно оценивая своего двойника).* Но я не хочу, понимаете, не хочу быть, как вы.

*Роль.* Может, и я не хочу быть, как вы. И наконец, я всего лишь вежлив: зовут – прихожу. Придя, спрашиваю: *зачем?*

Пальцы Рара обыскивали воздух, точно в нем кружила невидимкою реплика; казалось, они уже схватили ее и вдруг разжались: Рар внимательно всматривался вслед выпорхнувшему слову.

– Вот тут-то я и попробую, замыслители, закрыть флейте ее первый клапан. Об это *зачем* Штерну нужно удариться. Ему, актеру, то есть существу, профессионально говорящему чужие слова, пожалуй, и не найти своих, чтобы объяснить своему отражению себя – отраженного.

По-моему, тут все довольно просто: каждое трехмерное существо дважды удваивает себя, отражаясь вовне и вовнутрь. Оба отражения неверны: холодное и плоское подобие, возвращаемое нам обыкновенно стеклянным зеркалом, неверно уже потому, что менее чем трехмерно, распластано; другое отражение лица, отбрасываемое им внутрь, втекающее по центростремительным нервам в мозг, состоящее из сложного комплекса самоощущений, тоже неверно, потому что – более чем трехмерно.

И вот – бедняга Штерн хотел объективировать, поднять со дна души к периферии, выманить игрой, зазвать в роль то, внутреннее подобие себя; на зов пришло другое отражение – стеклитое, мертвое, спрятанное под поверхностями, отраженное вовне. Он не хочет его, отрекается от назойливого фантома и тем и создает ему объективность бытия вне себя. То, о чем говорю, существует и вне пьес; случилось и будет случаться. Да вот хотя бы Эрнесто Росси: в своих «Воспоминаниях» он рассказывает о посещении развалин Эльсинора. Приблизительно так: на некотором расстоянии от замка Росси останавливает экипаж и пешком к руинам. В сгущающихся сумерках ровным шагом приближается он к замку. Неумирающая история о датском принце овладевает им. Шагая навстречу черному силуэту моста, он – сначала про себя, потом все громче и громче, припоминая первый акт «Гамлета», стал декламировать свое обращение к тени отца. И когда, постепенно втягиваясь в привычную роль, додекламировал до реплики *Тени* и привычным же движением поднял голову, – он увидел ее: выйдя из ворот, *Тень*, бесшумно близясь, шла к брошенному через ров мосту: реплика принадлежала ей. Далее Росси сообщает лишь, что, повернувшись спиной к партнеру, он опрометью бросился назад, отыскал возницу и велел гнать лошадей что есть мочи. Итак, актер бежал – в данном случае от пришедшей к нему роли. Но ведь он мог и *остаться* там, у моста: из мира в мир. И Штерну придется *остаться* – для этого не нужно таланта: достаточно воли. Но давайте включим пьесу. Наш персонаж давно ждет нас: я слишком затянул ему паузу. Итак:

*Штерн.* Значит, меня увидят таким? Как вот ты?

*Роль.* Да.

*Штерн (в раздумье).* Так. Еще вопрос: *откуда* ты? И еще: откуда бы ты ни был, тебе придется уйти. Я отказываюсь от роли.

*Роль (приподымаясь).* Как угодно.

*Штерн (шаг вслед).* Стой. Я боюсь: тебя могут видеть. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь, кроме меня... ты понимаешь.

*Роль.* Не торопитесь включать меня в пространство. Дело в том, что видеть меня... ну, скажем, необязательно. Мы существуем, но условно. Кто захочет – увидит, а не захочет... вообще это насилие и дурной вкус быть *принудительно реальным*. И если у вас, на земле, это еще не вывелось, то...

*Штерн.* Постой, постой. Но ведь я *хотел* видеть другого...

*Роль.* Не знаю. Может быть, перепутали подорожные. При переходе из мира в мир это бывает. Сейчас у нас огромный спрос на Гамлетов. Гамлетбург почти опустел.

*Штерн.* Не понимаю.

*Роль.* Очень просто. Вы затребовали из архивов, а вам прислали из заготовочной.

*Штерн.* Но как же это... распутать?

*Роль.* Тоже – просто. Я провожу вас до Гамлетбурга, а там ищите, кого вам надо.

*Штерн (растерянно).* Но где это? И как туда пройти?

*Роль.* Где: в Стране Ролей. Есть и такая. А вот как, этого ни рассказать, ни показать нельзя. Думаю, зрители извинят, если мы... за закрытым занавесом.

Рар спокойно оглядел нас всех:

– Роль, в сущности, права. С вашего разрешения даю занавес. Теперь дальше, позиция вторая: постарайтесь увидеть уходящую от глаза перспективу, ограниченную со всех сторон близко сдвинувшимися стенами и заостренную вверх жесткими каркасами готических арок. Поверхности этого фантастического туннеля сверху донизу в квадратных пестрых бумажных пятнах, поверх которых разными шрифтами, на разных языках одно и то же слово: Гамлет – Гамлет – Гамлет. Внутри, под убегающими вглубь буквами разноязыких афиш, два ряда теряющихся вдалеке кресел. В креслах, завернувшись в черные плащи, длинной вереницей – Гамлеты. У каждого из них в руках книга. Все они склонились над ее развернутыми листами, их бледные лица сосредоточенны, глаза не отрываются от строк. То здесь, то там шуршит перелистываемая страница и слышится тихое, но немолкнувшее:

– Слова, слова, слова.

– Слова – слова.

– Слова.

Я еще раз приглашаю вас, замыслители, взглянуть в череду фантомов. Под черными беретами опечаленных принцев вы увидите тех, кто вводил вас в проблему Гамлета: в этот длинный и узкий – сквозь весь мир протянувшийся – глухой коридор. Я, например, сейчас ясно могу разглядеть – третье кресло слева – резкий профиль Сальвиниева Гамлета, сдвинувшего брови над ему лишь зримым текстом. Правее и дальше под складками черной тяжелой ткани хрупкий контур, похожий на Сару Бернар: тяжелый фолиант с отстегнутыми бронзовыми застежками оттянул тонкие слабые пальцы, но глаза цепко ухватились за знаки и смыслы, таимые в книге. Ближе, под красным пятном афиши, одутлое, в беспокойных складках лицо Росси, дряблеющая щека уперлась в ладонь, локоть в резную ручку кресла; мускулы у сгиба колен напряглись, а у виска пульсирует артерия. И дальше, в глубине перспективы, я вижу нежно очерченное лицо женственного Кемпбеля, острые скулы и сжатый рот Кина и там, у края видения, запрокинутую назад, с надменной улыбкой на губах, с полузакрытыми глазами, то возникающую, то никнущую в дрожании бликов и теней, ироническую маску Ричарда Бэрбеда. Мне трудно рассмотреть отсюда – это далеко, – но, кажется, он закрыл книгу: прочитанная от знака до знака, сомкнув листы, она неподвижно лежит на его коленях. Возвращаясь взглядом назад: иные лица затенены, другие отвернулись от меня. Да, возвращаясь, кстати, и к действию.

Дверь в глубине, подымаясь створкой кверху, как занавес, выбрасывает резкий свет и две фигуры: впереди, с видом чичероне, шествует *Роль*. Вслед за ней робко озирающийся *Штерн*. Ноги его в черном трико: шнурки развязавшихся туфель болтаются из стороны в сторону; на плечах наскоро наброшенный короткополый пиджак. Медленно – шаг за шагом – они проходят меж рядов погруженных в чтение Гамлетов.

*Роль.* Вам повезло. Мы попали как раз к нужной вам сцене. Выбирайте: от Шекспира до наших дней.

*Штерн (указывает на несколько пустых кресел).* А тут – почему не занято?

**Роль.** Это, видите ли, для предстоящих Гамлетов. Вот сыграй вы меня, и мне б сыскалось местечко, – ну, не здесь, так где-нибудь там, сбоку, на табуретке, с краешка. А то мы какой конец отломали – из мира в мир, – и вот стой. Знаете, пойдем-ка из страны достижений в страну замыслов: там места сколько угодно.

**Штерн.** Нет. Искать надо здесь. Что это? *(Над дугами сводов – в вышине – проносятся плещущие звуки: стихли.)*

**Роль.** Это стая аплодисментов. Они залетают иногда и сюда: перелетными птицами – из мира в мир. Но мне здесь дольше нельзя: еще хватятся в замыслительском. Шли бы со мной. Право.

**Штерн** *(отрицательно качает головой; его проводник уходит; один – среди слов, в словах. Жадно, как нищий сквозь стекло витрины, всматривается в ряды ролей. Шаг, другой. Колеблется. Глаза его, постепенно пробираясь сквозь полутьму, начинают различать застывшую в глубине великолепную фигуру Ричарда Бэрбеджа).* Этот.

Но тут один из Гамлетов, который, отложив книгу, давно уже вглядывался в пришельца, поднявшись с кресел, внезапно преграждает ему дорогу. Штерн в смятении отступил, но Роль сама смущена и почти испугана: выступив из полутьмы в свет, она обнаруживает дыры и заплаты на своем неладно скроенном – с чужого плеча – плаще; на плохо пробритом лице Роли искалеченная улыбка.

**Роль.** Вы оттуда? *(Утвердительный кивок Штерна.)* Оно и видно. Нельзя ли осведомиться: почему меня больше не играют? Не слышали? Всем, конечно, известно, что трагик Замтутырский отпетый пьяница и мерзавец. Но нельзя же так. Прежде всего – он меня не выучил. Вы представляете себе, как приятно быть невыученным: не то ты еси, не то не еси. В этой самой бытенебыти, в третьем акте, знаете, мы так запутались, что если бы не суфлер... и вот после этого ни разу у рампы. Ни одного вызова: в бытие-с. Скажите на милость, что с Замтутырским, спился или амплуа переменял: если вернетесь, прошу вас, поставьте ему на вид. Нельзя же так: породил меня, ну и играй меня. А то... *(Штерн, отстраняя пародию, пробует пройти дальше, но та не унимается.)* Со своей стороны – если могу быть чем полезен...

**Штерн.** Я ищу книгу третьего акта. Я – за ее смыслом.

– Так бы и сказали. Вот. Только не зачитайте. Замтутырский, как и вы, на этой книге всю игру строил: меня ни в зуб, ну и ходит по сцене, и чуть что – в книгу. «Раз, – говорит, – Гамлету в третьем акте можно в книжку смотреть, то почему нельзя во втором или, там, в пятом; оттого – говорит и не мстит, что некогда: книжник, эрудит, занятой человек, интеллигент: читает, читает, оторваться не может: убить и то некогда». Так что, если любопытствуете, пожалуйста: перевод Полевого, издание Павленкова.

**Штерн,** *отстранив налипающую на него замтутыркинскую роль, направляется в глубь перспективы к гордому контуру Бэрбеджа. Стоит, не смея заговорить. Бэрбедж сначала не замечает, потом веки его медленно поднимаются.*

**Бэрбедж.** Зачем здесь это существо, отбрасывающее тень?

**Штерн.** Чтобы ты принял его к себе в тени.

**Бэрбедж.** Что ты хочешь сказать, пришелец?

**Штерн.** То, что я человек, позавидовавший своей тени: она умеет и умалиться, и возвеличиться, а я всегда равен себе, один и тот же в одних и тех же – дюймах, днях, мыслях. Мне давно уже не нужен свет солнц, я ушел к светам рампы; и всю жизнь я ищу Страну Ролей; но она не хочет принять меня; ведь я всего лишь замыслитель и не умею свершать: буквы, спрятанные под застежки твоей книги, о великий образ, для меня навсегда останутся непрочитанными.

**Бэрбедж.** Как знать. Я триста лет обитаю здесь, вдали от потухших рампы. Время достаточное, чтобы домыслить все мысли. И знаешь, лучше быть статистом там, на земле, чем премьером здесь, в мире отыгранных игр. Лучше быть тупым и ржавым клинком, чем драгоцен-

ными, но пустыми ножнами; и вообще лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно не быть: теперь я не стал бы размышлять над этой дилеммой. И если ты подлинно хочешь...

*Штерн.* Да, хочу!

*Бэрбедж.* Тогда обменяемся местами: отчего бы Роли не сыграть актера, играющего роли.

*Обмениваются плащами. Погруженные в чтение Гамлеты не замечают, как Бэрбедж, мгновенно вобрав в себя походку и движения Штерна, пряча лицо под надвинутым беретом, направляется к выходу.*

*Штерн.* Буду ждать вас. (*Поворачивается к пустому креслу Бэрбеджа: на нем мерцающая металлическими застезжками книга.*) Он забыл книгу. Поздно: ушел. (*Присев на край кресла, с любопытством оглядывает сомкнутые застезжки книги. Со всех сторон – снова шурианье страниц и тихое: «Слова-слова-слова».*) Буду ждать.

*Теперь третья позиция: кулисы. У входа, примостившись на низкой скамеечке, Фелия. На коленях ее тетрадка. Зажав уши и мерно раскачиваясь, она учит роль.*

*Фелия.* Я шила в комнате моей, как вдруг... вбегает...

*Вбегает Гильден.*

*Гильден.* Штерна нет?

*Фелия.* Нет.

*Гильден.* Ты предупреди его: если он и сегодня пропустит репетицию, роль переходит ко мне.

*Бэрбедж (появившийся на пороге – за спинами говорящих; про себя).* Роль перешла, это правда: но не от него и не к тебе.

*Гильден уходит в боковую дверь. Фелия снова наклоняется над тетрадкой.*

– Я шила в комнате моей, как вдруг  
Вбегает Гамлет, плащ на нем разорван,  
На голове нет шляпы, грязные чулки  
Развязаны и спущены до пят;  
Он бледен, как стена; колена гнутся;  
Глаза блестят каким-то странным светом,  
Как будто бы пришел он из иного мира,  
Чтоб рассказать об ужасах его.  
Таким...

*Бэрбедж (заканчивает)...* «Таким явился он». Не так ли? Колена гнутся... еще бы – пройти такую даль. Но рассказывать было бы слишком долго.

*Фелия (с изумлением глядя в прищельца).* Как ты хорошо вошел в роль, милый.

*Бэрбедж.* Ваш милый вошел в другое.

*Фелия.* У тебя хотели ее отнять: я отправила вчера письмо. Оно получено!

*Бэрбедж.* Боюсь, что туда не доходят письма. И притом, как отнять роль у отнятого актера?

*Фелия.* Ты говоришь странно.

– «Это странно

как странника прими в свое жилище».

Вошедшие *Таймер, Гильден* и несколько актеров прерывают диалог.

– Режиссер Таймер, не будем придумывать ему наружность, он будет похож, ну хотя бы на меня: желающих просят смотреть, – улыбнулся Рар, оглядывая слушающих.

Кроме меня одного, никто, кажется, не возвратил ему улыбки: замыслители, сомкнув молчаливый круг, ничем и никак не выражали своего отношения к рассказу.

– Таймер видится мне экспериментатором, упрямым вычислителем, придерживающимся методов подстановки: люди, подставляемые им в его постановочные схемы, нужны ему, как математику нужны цифры: когда пришла очередь *той* или иной цифре, он вписывает ее; когда очередь цифры отошла, он перечеркивает отслуживший знак. Сейчас, увидев того, кого он принимает за Штерна, Таймер не удивлен и даже рассержен.

*Таймер.* Ага. Пришли. А роль ушла. Поздно: Гамлета играет Гильден.

*Бэрбедж.* Вы ошибаетесь: ушел актер, а не роль: к услугам вашим.

*Таймер.* Не узнаю вас, Штерн: вы всегда, казалось, избегали играть – в том числе и словами. Что ж. Два актера на одну роль? Идет. Внимание: беру роль и разрываю ее надвое. Это нетрудно – надо лишь угадать линию разрыва. Ведь Гамлет, в сущности, это схватка *да с нет*: они-то и будут у нас центрозомами, разрывающими клетку на две новых клетки. Итак, попробуем: подать два плаща – черный и белый. (*Быстро размечает тетрадки с ролями: одну, вместе с белым плащом, передает Бэрбеджу; другую, вместе с черным, – Гильдену.*) Акт третий, сцена первая. Приготовьтесь. Раз, два, три: занавес пошел.

*Гамлет I (белый плащ).* Быть?

*Гамлет II (черный плащ).* Или не быть? Вот в чем вопрос.

*Гамлет I.* Что лучше?

*Гамлет II.* Что благороднее?

*Гамлет I.* Сносить и гром и стрелы  
Враждующей судьбы. О нет.

*Гамлет II.* Или восстать

На море бед и кончить все борьбою!

*Гамлет I.* Окончить жизнь.

*Гамлет II.* Нет, лишь уснуть.

*Гамлет I.* Не более?

*Гамлет II.* Да, и знать, что этот сон

Окончит все. И тысячи ударов...

*Гамлет I.* Но ведь удел живых...

*Гамлет II.* Такой конец достоин

Желаний жарких.

*Гамлет I.* Умереть?

*Гамлет II.* Уснуть.

*Гамлет I.* Но если сон виденья посетят?

Что за мечты на смертный сон слетят,

Когда стяхнем мы суету земную?

*Гамлет II.* Да, это заграждает дальний путь

И делает страданье долговечным.

Кто снес бы бич и посмеянье века

Бессилье прав, тиранов притесненья,

Обиды гордого, *забытую* любовь...

*Гамлет I.* Презренных душ презрение к заслугам...

*Гамлет II.* Да, если б мог нас подарить покоем

Один удар.

И только страх чего, то после смерти, –

Страна безвестная, откуда путник

Не возвращался к нам.

*Гамлет I.* Неправда, возвратился!

Все с удивлением смотрят на Бэрбеджа, оборвавшего монолог, начавший было расщепляться в диалоге.

*Таймер.* Это не из роли.

*Бэрбедж.* Да, это из Царства Ролей. *(Он принял свою прежнюю позу: над белым, как саван, плащом надменно запрокинута мелово-белая маска: глаза закрыты; на губах улыбка гаера.)* Это было лет триста тому. Вилли играл Тень, я – принца. С утра лил дождь, и партер был весь в лужах. Но народу все же было много. К концу сцены, когда я задекламировал о «мире, вышедшем из колеи», в публике поймали воришку, вытащившего чужие пенсы из кармана. Я кончил акт под чавканье задвигавшихся ног по лужам и глухое: вор-вор-вор. Беднягу тотчас же, как это у нас водилось, вытащили на помост сцены и привязали к столбу. Во втором акте воришка был смущен и отворачивал лицо от протянутых к нему пальцев. Но сцена за сценой – вор освоился и, чувствуя себя почти включенным в игру, наглея и наглея, стал кривляться, отпускать замечания и советы, пока мы, отвязав его от столба, не сошвырнули прочь со сцены. *(Вдруг повернувшись к Таймеру.)* Не знаю, что или кто привязал тебя к игре. Но если ты думаешь, что твои краденые мыслишки – ценой по пенсу штука – могут сделать меня богаче, меня, для которого писаны вот эти догрелли, – получай свои медяки и прочь из игры.

*Швыряет Таймеру роль в лицо. Смятение.*

*Фелия.* Опомнись, Штерн!

*Бэрбедж.* Мое имя Ричард Бэрбедж. И я развязываю тебя, воришка. Прочь из Царства Ролей!

*Таймер (бледный, но спокойный).* Спасибо: воспользуюсь развязанными руками, чтобы... да свяжите же его: видите – он сошел с ума.

*Бэрбедж.* Да, я снизошел к вам, люди, с того, что превыше всех ваших умов, – и вы не приняли...

На Бэрбеджа бросаются, пробуя связать. Тогда он, в судороге борьбы, кричит, понимаете ли, кричит им всем... вот тут, я сейчас...

И, бормоча какие-то неясные слова, рассказчик быстро сунул руки в карман: что-то зашуршало под черным бортом его сюртука. И тотчас же он оборвал слова, расширенными зрачками оглядывая слушателей. Беспокойно вытянулись шеи. Задвигались стулья. Председатель, вскочив с места, властным жестом прекратил шум.

– Рар, – зачеканил он. – Вы пронесли сюда буквы? Тая их от нас? Дайте рукопись. Немедленно.

Казалось, Рар колеблется. Затем, среди общего молчания, кисть его руки вынырнула из-под сюртучного борта: в ее пальцах, чуть вздрагивая, белела вчетверо сложенная тетрадь. Председатель, схватив рукопись, с минуту скользил глазами по знакам: он держал ее почти брезгливо, за края, точно боялся грязнить себя прикосновением к чернильным строкам. Затем Зез повернулся к камину: он почти догорел, и только несколько углей, медленно лилодея, продолжали пламенеть поверх решетки.

– Согласно пункту пять устава предается рукопись смерти: без пролития чернил. Возражения?

Никто не пошевелился.

Коротким швырком председатель бросил тетрадь на угли. Точно живая, мучительно выгибаясь белыми листами, она тихо и тонко засычала; просинела спираль дымка; вдруг – снизу рвануло пламенем, и – тремя минутами позже председатель Зез, распевлив дробными ударами каминных щипцов то, что так недавно еще было пьесой, отставил щипцы, повернулся к рассказчику и процедил:

– Дальше.

Лицо Рара не сразу вернулось в привычное выражение; видно было, что ему трудно владеть собой, – и все же он заговорил снова:

– Вы поступили со мной, как мои персонажи с Бэрбеджем. Что ж – поделом: и ему, и мне. Продолжаю: то есть поскольку слов, которые я хотел прочесть, уже нельзя прочесть (он бросил быстрый взгляд на каминную решетку: последние угли отыскивались и отлевали), опускаю конец сцены. Всем ясно, что испуганная происшедшим *она* пьесы, Фелия, переходит вместе с ролью – к Гильдену. Четвертая и последняя позиция заставляет нас вернуться к Штерну.

Оставшись в Царстве Ролей, он ждет возвращения Бэрбеда. Нетерпение – от мига к мигу – возрастает. Там, на земле, может быть, уже идет спектакль, в котором гениальная роль играет за него себя самое. Над стрельчатыми сводами проносится шумная стая аплодисментов:

– Мне?

В волнении Штерн пробует обратиться к окружающим его углубившимся в свои книги Гамлетам. Его мучают вопросы, наклонившись к соседу, спрашивает:

– Вы должны понять меня. Ведь вы знаете, что такое слава.

В ответ:

– Слова – слова – слова...

И спрошенный, закрыв книгу, удаляется. Штерн к другому:

– Я чужой всем. Но вы научите меня быть всеми.

И другой Гамлет, сурово взглянув, закрывает книгу:

– Слова – слова.

К третьему:

– Там, на земле, я оставил девушку, которая меня любит. Она говорила мне...

– Слова.

И с каждым вопросом, как бы в ответ, Гамлеты поднимаются и, закрыв свои книги, один вслед за другим, – удаляются.

– А если Бэрбедж... Вдруг он не захочет вернуться. Как тогда найти путь: туда, назад? И вы, зачем вы покидаете меня? Все забыли: может, и она, как все. Но ведь она клялась...

И снова:

– Слова – слова.

– Нет, не слова: слова сожжены; по ним – я видел – били каменными щипцами – слышите?!

Рар провел рукою по лбу:

– Простите – спуталось; зубья за зубья. Это иной раз бывает. Разрешите с купюрами.

Итак, черед Гамлетов покинула Штерна; вслед им ползут и пестрые пятна афиш; даже буквы на них, выпрыгивая из строк, устремляются прочь. Фантастическая перспектива Царства Ролей с каждым мигом меняет свой вид. Но у Штерна осталась в руках книга, забытая Бэрбеджем. Теперь уже медлить незачем: настало время взять смысл силой, вскрыть тайну. Но книга на крепких металлических застежках. Штерн пробует разогнуть ей переплет. Книга сопротивляется, плотно сжимая листы. В припадке гнева Штерн, кровавая пальцы, все-таки выламывает тайник со словами. На разжатых страницах:

– Actus morbi. История болезни. Больной номер. Так. Шизофрения. Развитие нормальное. Припадок. Температура. Повторный. Бредовая идея: какой-то Бэрбедж. Желудок нормальный. Процесс принимает затяжную форму. Неизлеч...

Штерн поднимает глаза: сводчатый длинный больничный коридор. Вдоль ряда перенумерованных дверей справа и слева кресла для дежурных по палате и посетителей. В глубине коридора погруженный в книгу, закутанный в белый балахон санитар. Он не замечает, что дверь в глубине перспективы раскрывается и поспешно входят двое: мужчина и женщина. Мужчина обернулся к спутнице:

– Как бы он ни был плох, но надо было мне дать хотя бы разгримироваться и сбросить костюм.

Оглянувшийся на голоса санитар изумлен: на посетителях под сброшенным ими верхним платьем театральные костюмы Гамлета и Офелии.

– Ну вот видишь: я так и знал, что на нас вытаращатся. К чему была эта горячка?

– Милый, но вдруг бы мы не успели. Ведь если он меня не простит...

– Причуды.

Санитар совершенно растерян. Но Штерн, с просветленным лицом, подымается навстречу пришедшим:

– Бэрбедж, наконец-то. И ты, единственная! О, как я ждал тебя и тебя. И я смел подозревать: Бэрбедж, я думал, ты украл у меня и ее, и роль, я хотел отнять у тебя твои слова: они отмстили за себя, назвав меня безумцем. Но ведь это только слова, слова, роли, – если нужно играть безумца, хорошо, пусть, – я буду играть. Только зачем вдруг переменили декорацию: это из какой-то другой пьесы. Но ничего: мы пойдем из ролей в роли, чередой пьес, все дальше и дальше, в глубь безграничного Царства Ролей. А почему на тебе нет венка, Офелия? Ведь для сцены сумасшествия тебе нужен майоран и рута. Где они?

– Я сняла, Штерн.

– Да? А может быть, ты утонула и не знаешь, что тебя уж нет, и твой венок плавает сейчас по зыбям меж тростника и лилий, и никто не слышит, как...

– На этом я, пожалуй, оборву. Без излишних росчерков, – Рар поднялся.

– Но позвольте, – надвинулись на отговорившего круглые очки Дяжа, – что же, он умирает или нет? И после мне неясно...

– Мало ли что вам неясно. Я зажал флейте все ее прорези. Все. О дальнейшем *флейтист* не спросит: он должен знать сам. И вообще, после каждого основного остается некое *остальное*. В этом пункте я не расхожусь с Гамлетом: «Остальное – молчание». Занавес.

Рар подошел к двери, повернул ключ дважды влево и, поклонившись с порога, исчез. Замыслители расходились молча. Хозяин, задержав мою руку в своей, извинился в том, что досадная непредвиденность испортила вечер, и напомнил о следующей субботе.

Выйдя на улицу, я увидел далеко впереди спину Рара: тотчас же он исчез в одном из переулков. Я быстро шел – от перекрестка к перекрестку, стараясь распутать свои ощущения. Мне казалось, вечер этот черным клином вогнан мне в жизнь. Надо выklinить. Но как?

### III

В следующую субботу, к сумеркам, я снова был в Клубе убийц букв. Когда я вошел, все уже были в сборе. Я отыскал глазами Рара: он сидел на том же месте, что и прошлый раз; лицо его казалось чуть заостренным; глаза глубже ушли в орбиты.

На этот раз ключ и слово принадлежали Тюду. Получив их, Тюд внимательно осмотрел стальную бородку ключа, точно ища в ее расщепе темы, затем, переведя внимание на слова, стал осторожно вынимать их одно за другим, столь же тщательно их осматривая и взвешивая. Вначале медленные, слова пошли все скорей и скорей, почти в обгон друг другу; на острых, шевелящихся скулах рассказчика проступили пятна румянца. Все лица повернулись к рассказчику.

– *Ослиный праздник*. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок – пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые *Festa asinorum*: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя – для вящей назидательности – события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян осла, который должен был напомнить о том прославленном евангелиями животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей провиденциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включенный – странным образом – в мессу, не проявлял ничего, кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кошунств, исполнился буйства и разгула: окруженный толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осел кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади ревела толпа, распевая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кадильницы, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались, и богохульствовали, и гоготали, когда возвеличенный осел со страху гадил на плиты алтаря. После все это обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового ази-нария.

Полотно загрунтовано. Дальше.

Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко. Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписанных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг ее нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая ее, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжженная перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.

Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в при-творе, с быющими сердцами ждали; старый священник медленно взошел по ступенькам

амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные – сквозь ладан и солнце – друг вслед другу.

Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст – лишь две-три нищенки у входа – и снова дряхлый о. Паулин, скрипя крутыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочетал имена: Пьер – Франсуаза.

Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот-то день – неожиданно и буйно – прихлынул праздник осла. Идя к церкви, Франсуаза еще издали услышала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажженное на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человеческими голосами ослиный праздник. Франсуаза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать – его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывать ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевел взгляд на стоявшую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошел к раскрытым дверям храма: жених и невеста – позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил ее: рев сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки ее сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметенные кверху руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толчками ступеней взносимое кверху, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг все смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл требник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.

– Оглашение третье. Во имя Отца и... – глухое гуденье, как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но четким голосом священника, – сочетается браком раба Божия Франсуаза...

– И я.

– И я. И я.

– И я. – И я. – И я, – заревела толпа множеством глоток. Котел сбросил крышку. И содержимое его, клокоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:

– И я. – И я.

И даже осел, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:

– И-и-и я-а-а!

Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около нее, стараясь вернуть ей сознание.

А затем все пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле – это только ее начало.

Несколько месяцев кряду молодожены жили душа в душу, тело к телу. Днем их разлучала работа, ночи возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру, были сходны.

Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу – она спала чутче – разбудил внезапный шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далекий, постепенно рос и близился; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; еще минута – и можно было различить отдельные вперебой кричащие голоса, другая – и стала слышима проступь слов: «и я – и я»... Франсуаза, вдруг заглодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, прикинула ухом к дверной доске: да – это был он – ослиный праздник – Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, вперебой, моля и тре-

буя, повторяли свое: и я – и я. Мириады буйных ослиных свадеб кружили вокруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом, и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я...

Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил ее: вдруг проснется и узнает: все. В чем было это мучающее и греховное все, она еще не отдавала себе отчета – тяжелая щеколда поддалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу празднеству осла. И тотчас же все вокруг нее смолкло, но не в ней. Она шла босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподалеку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец, выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды – ночной жених безымянен, – в темную ночь он берет то, что темнее всех ночей: выкрав душу, как тать, придя, как тать, и изникает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провожая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, нескоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал веселое коленце.

И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День – ночь – день. Пока опять не накатило это. Франсуаза клялась не поддаться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты перед черными ликами икон; много молитв ее откружило по четкам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вокруг нее, все теснее и теснее смыкая круг, неистовый праздник осла, она, снова теряя волю, встала и шла – не зная, куда и к кому. На черном ночном перекрестке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он все же жадно взял – и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, – скользя вдоль стены – ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвучно плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж еще крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная головами, Франсуаза переступила порог в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим желтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута – желтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, – обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно вглядываясь в дрожь губ и в задернутые тусклой пленкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуаза услышала:

– Вернись в дом. Оденься пристойно и жди.

Старый священник шел не спеша, дробным шаркающим шагом, то и дело останавливаясь и переводя трудное дыхание. Войдя в дом женщины, он увидел ее неподвижно сидящей на скамье у стены: руки женщины были ладонью в ладонь, и только изредка плечи ее под тканью одежды вздрагивали, будто от холода. О. Паулин дал ей отплакаться и тогда лишь сказал:

– Покорись, душа, возжегшему тебя. Писанием и Пророками предречено: только на осле, несмысленной и смердящей скотине, можно достигнуть стогов Иерусалима. Говорю тебе: только так и через это входят в Царствие Царств.

Молодая женщина с изумлением подняла полные слез глаза.

– Да, настало время и тебе, дитя, узнать то, что дано знать не всем: тайну осла. Цветы цветут так чисто и благоуханно оттого, что корни их унавожены, в грязи и смраде. От малой молитвы к великому молению – только через богохульство. Самому чистому и самому высокому, хоть на миг, должно загрязниться и пасть: потому что иначе как узнать, что чистое чисто

и высокое высоко. Если Бог, пусть раз в вечность, принял плоть и закон человеческий, то и человеку ли можно ли гнушаться закона и плоти осла? Только надругавшись и оскорбив любимейшее из любимого, нужнейшее из нужного сердцу, можно стать достойным его, потому что здесь, на земле, нет путей бесскорбия.

Старик поднялся и стал зажигать свой фонарь:

– Наша церковь раскрыла храмы празднеству осла: она хочет, чтобы над нею, невестою Христовой, посмеялись и надругались: потому что ей ведома великая тайна. Но в празднество, в радость, с веселием и смехом входят все, – *далее* идут лишь избранные. Истинно говорю тебе: нет путей бесскорбия.

Наладив огонь, старик повернулся к порогу. Припав губами к сухим костяшкам его руки, женщина спросила:

– Значит – молчать?

– Да, дитя. Потому что – как раскрыть тайну осла... ослам?

Улыбнувшись, как тогда, в день третьего оглашения, о. Паулин вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

Тюд замолчал и, постукивая сталью ключа о ручку кресла, сидел с лицом, повернутым к порогу.

– Допустим, что так, – оборвал паузу председатель Зез, – кладка замысла в каких-нибудь десяток кирпичей. Мы привыкли обходиться без цемента. Поэтому, поскольку времени у нас еще достаточно, не согласились ли бы вы сложить элементы новеллы в каком-нибудь ином порядке. Ну, скажем, первый кирпич – эпоха пусть лежит, где лежала; в центр действия давайте не женщину, а священника; затем придайте центральному действователю значимости за счет значимостей элемента «ослиный праздник»: его можно оторвать, так сказать, от корешков, взяв одни вершки, – и затем...

– И затем, – подхватил толстый Фэв, насмешливо шурясь на рассказчика, – кончить все не в жизнь, а в смерть.

– Просил бы подновить и заглавие, – подхихикнул из угла Хиц.

Желваки под пятнами румянца, расползавшимися по всему лицу Тюда, задержались и напряглись; он наклонился вперед, точно готовясь к прыжку; вся фигура его – короткая и сухая, подвижная и четкая – напоминала в чем-то краткость, динамичность и четкость новелл, среди которых он, очевидно, жил. Внезапно встав, Тюд зашагал вдоль черных полок и столь же внезапно, сделав крутой поворот на каблуках, повернулся к кругу из шести:

– Идет. Начинаю. Заглавие: *Мешок голиарда*. Уже оно одно позволяет мне остаться в той же эпохе. Голиарды, или «веселые клирики», как их тогда называли, были – думаю, всем вам это известно – странствующими попами, заблудившимися, так сказать, между церковью и балаганом. Причины появления этой странной помеси шута с капелланом до сих пор не исследованы и не объяснены: вероятнее всего, то были священники из захудалых приходов; поскольку ряса не кормила их или кормила вполтину, приходилось прирабатывать чем ни попало: и главным образом не требующим включения в цех ремеслом балаганного лицедея. Герой моего рассказа, о. Франсуаз (разрешите и с именами поступить так, как и со всем остальным, то есть переместить их), был одним из таких. В высоких сапогах из дубленой кожи, с крепким посохом в руке, он мерил пыльные извивы проселочных дорог, от жилья к жилью, меняя псалмы на песни, галльские прибаутки на ученую латынь, звон анжелюса на звяканье бубенцов дурацкой шапки. В дорожном мешке его, стянутом веревочным узлом за его спиной, лежали рядком, как муж с женой, аккуратно сложенные и прижатые друг к другу гаерский плащ из пестрых лоскутьев, обшитый побрякушками, и черная, протершаяся у швов сутана. Сбоку на ремне болталась фляга с вином, вокруг правой кисти в три обмота чернели бусины четок. О. Франсуаз был человек веселого нрава; в дождь и зной он шел среди колосющихся ли полей, по занесенным ли снегом дорогам, насвистывая простые песенки и изредка наклоняясь к фляге, чтобы поце-

ловать ее – как он любил это называть – в стеклянные губы; никто не видел, чтобы о. Франсуаз целовался с кем-нибудь другим.

Мой странствующий голиард был человеком весьма небесполезным: нужно отслужить требу – развяжет мешок, застегнется в узкую темную сутану, разматывает четки, порывшись на дне мешка, вынет крест и, строго сведя брови, свяжет или разрешит; нужно сладить веселую праздничную забаву – сыграть интермедии или выучить роль дьявола, слишком путаную и трудную для любителей из какого-нибудь цеха, – и пестрый – из того же мешка, в бубенцах и блестях, – шутовской плащ привычно обматывается вокруг широких плеч о. Франсуаза: тут уж трудно было сыскать ловкача, который умел бы лучше насмешить до слез и придумать столько прибауток, как умел это делать голиард Франсуаз.

Никто не знал о нем, стар он или молод: бритое лицо его было всегда под бронзой загара, а голая кожа на макушке могла быть и лысиной, и тонзурой. Иной раз девушки, насмеявшись до слез во время интермедии или наплакавшись до улыбки во время мессы, как-то по-особенному пристально глядели на Франсуаза, но голиард был странником: отслужив и отыграв, он складывал рясу и плащ с бубенцами, стягивал узлы мешку и шел дальше; руки его сжимали лишь дорожный посох, губы касались лишь стеклянных губ. Правда, шагая полем, он любил пересвистываться с пролетающими птицами, но птицы ведь тоже странники и, для того чтобы говорить с людьми, им хватило б одного слова: «мимо». Тут же, в полях, среди ветра и птиц, голиард любил иногда побеседовать со своим дорожным мешком: он развязывал ему замундштученный веревкой рот и, вытащив на солнце пестрое и черное, болтал, например, такое:

– *Suum cuique, amici mei*<sup>1</sup>: помните это, черныш и пеструха. И, в сущности, будь на земле пестрые мессы и черный смех, – вам пришлось бы поменяться местами, друзья. Ну, а пока – ты нюхай ладан, а ты наряжайся в винные пятна.

И, выколотив из черного и пестрого пыль, голиард прятал их снова в мешок и, поднявшись, шел по извивам дорог, пересвистываясь с перепелами.

Однажды к вечеру, пыльный и усталый, о. Франсуаз дошагал до огней деревушки. Это было небольшое селение в сорок – пятьдесят дворов, посредине церковь; вокруг зеленые квадраты виноградников. Уже у околицы встретился человек, разменявшийся с путником расспросами: кто – откуда – зачем – куда. И не успел о. Франсуаз присесть под вывеской «Туз кроет все», как его позвали к умирающему. Наскорохватив стакан и другой, голиард сунул руки в рукава рясы и, застегивая на пути крючки, поспешил к душе, ждущей отходных молитв.

Дав душе отпущение, он вернулся назад, к недопитой фляге. За это время весть о пришельце успела побывать во всех сорока дворах, и несколько пожилых крестьян, дожидавшихся его в «Тузе, кроющем все», попросили пришельца завтра – день предстоял ярмарочный – позабавить и здешних и пришлых чем-нибудь повеселей и покруче. Звякнули стаканами о стаканы – и голиард сказал: хорошо.

Уже поздно ночью, разыскивая в деревне ночлег, голиард наткнулся на человека, идущего с фонарем в руках: желтый глаз скользнул по его лицу; сквозь слепящий свет голиард увидел сначала крепкую широкопалую руку, охватившую ручку фонаря, а затем и широкое, сверкнувшее зубами и улыбкой лицо молодого парня.

– Не встречался вам о. Франсуаз? – спросил тот. – Я его ищу.

– Что ж, давай искать вместе. Зеркало при тебе?

– А зачем зеркало?

– Ну как же: без зеркала мне о. Франсуаза никак не увидеть. Как тебя зовут?

– Пьер.

– А твою невесту?

– Паулина. Почем вы знаете, что у меня невеста?

---

<sup>1</sup> Каждому свое, друзья мои (*лат.*).

– Хорошо. Завтра перед анжелюсом. Если вам нужно прилепиться друг к другу и стать плотью единой, лучшего клея, чем у меня в мешке, не найти. Спокойной ночи.

И, дунув опешившему парню в фонарь, голиард оставил его, объятый тьмой и изумлением.

С утра о. Франсуаз истово принялся за работу: сначала кропил освященной водой больных младенцев и бормотал очистительные молитвы у ложа родильницы, затем, быстро переодевшись в пестрядь шута, аккуратно уложил свои дорожную и священническую одежды в мешок и, оставив его на попечении трактирного слуги, широкооротого и долговязого парня, пошел на рыночную площадь потешать съехавшихся из соседних деревень крестьян. Песня вслед песне, прибаутка к прибаутке: время шло, а поселяне никак не могли насмеяться досыта и не отпускали забавника. Вдруг на колокольне зазвенел анжелюс; крестьяне сняли шапки, а о. Франсуаз, подобрав звякающий бубенцами плащ, бросился почти бегом назад, к трактиру, спеша переодеться и не упустить свадьбы.

В дверях «Туза» его встретил растерянный слуга: в руках у него голиард увидел свой мешок, но странно отощавший, со слипшимися боками.

– Сударь, – проямлил долговязый, развесив свой глупый рот, – мне тоже хотелось послушать вас; а тем временем мешок-то и выпотрошили. Кто бы мог думать.

Голиард сунул руку в мешок.

– Пуст, пуст! – закричал он в отчаянии. – Пуст, как твоя голова, разиня. Как же мне служить сейчас свадьбу, когда у меня не осталось ничего, кроме моей латыни.

На простецком лице трактирного слуги трудно было найти ответ. Сунув мешок под мышку, о. Франсуаз, звеня бубенцами, как был, бросился к церкви. По дороге он еще раз обыскал пустоту в своем мешке: у дна его пальцы наткнулись на крест, оставленный вором: быстро надев его поверх дурацкого балахона, о. Франсуаз размотал четки на своей руке и, вбежав в церковь, начал:

– In nomine...

– Cum spiritu Tuo<sup>2</sup>, – подхватил было церковный слуга и вдруг, выпучив глаза, в испуге устоялся на подымающемся по ступеням алтаря шута. Произошло общее смятение: дружки попятнулись к дверям, старуха крестьянка уронила горящую свечу, невеста, закрыв лицо, заплакала от обиды и страха; а дюжий жених вместе с двумя-тремя парнями выволокли нечестивца из храма и, избив, бросили его невдалеке от паперти.

Ночная прохлада привела голиарда в чувство. Приподнявшись с земли, о. Франсуаз сначала ощупал свои ссадины и синяки, затем еще раз мешок, брошенный рядом с ним; в нем не было ничего, кроме пустоты, но и ее он тщательно завязал в два узла, привычным движением закинул за плечо и, отыскав в траве свой посох, покинул спящую деревню. Он шел сквозь ночь, звеня медными бубенчиками. К утру он встретил в поле людей, которые, увидав его шутовской наряд, испуганно свернули с дороги, дивясь пестрому призраку, которому место не на черных бороздах полей, а на скрипучем балаганном помосте. Дойдя до ближайшей деревни, голиард решил обогнуть стороной: идя задами дворов и огородов, он старался ступать возможно тише, чтобы не привлечь звяканьем бубенцов чьих-либо глаз. Но облезлый пес, выскочивший ему навстречу, завидев движущуюся пестрядь, отчаянно залаял; на лай вышли люди, и вскоре за шутком, идущим среди полей, потянулась вереница мальчишек, свистящих и гикающих вслед.

Крестьянин, занятый починкой изгороди, не ответил на приветствие балаганного призрака, а женщины, пересекшие путь с кувшинами воды на плечах, не улыбнулись веселой гримасе, опустив глаза, прошли мимо: сегодня был рабочий, трудный день, – занятым и трезвым людям некогда и ни к чему был смех; они отшутили свои шутки, попрятали праздничные одежды на дно своих сундуков, оделись в будничное рабочее платье и начинали долгую, в шесть

---

<sup>2</sup> – Во имя... – С духом Твоим (лат.).

одинаких сероливых дней, трудовую череду. Непонятый пришелец был праздником, заблудившимся среди буден, нелепой ошибкой, путающей им их нехитрый календарь: глаза отдергивались от голиарда, он видел либо презрительные улыбки, либо равнодушные спины. И он понял, как одинок и бесприютен смех, серафически чистый, шитый из слепяще-пестрых лоскутов, тонкими нитями в острых иглах. Он мог бы подняться до самого солнца, но не взлетал и выше насестей: душа орла, а крылья одомашненной клохчущей курицы; все улыбки сосчитаны и заперты в праздник, как в клетку. Ну нет. Прочь! Голиард, торопя шаги, уже шел по той тропе – что по земле от земли; но земля, темная и вязкая, липла к подошвам, цеплялась травами и сучьями за края одежды, а ветер, потный и пропахший навозом, звонил – изо всей мочи – в бубенцы и подвески гаснущего в сумерках плаща. Дорогу перегородила река. Голиард снял с плеча мешок, распутал узел и поговорил с ним в последний раз:

– Блаженный Иероним пишет, что и тело наше всего лишь одежда. Если так, отдадим его в стирку.

Мешок развесил холщовую пасть и был похож на разиню-слугу из «Туза, кроющего все». Свесившись с обрывистого берега, веселый клирик попробовал нащупать концом своего посоха дно. Не удалось. Неподалеку, вдавившись в землю, лежал омшелый тяжелый камень. Оторвав камень от земли, Франсуаз сунул его внутрь мешка. Вслед за камнем и голову и крепко замотал вокруг шеи веревки. Срыв берега был в одном шаге. Берусь утверждать, что этот шаг был для о. Франсуаза последним.

Тюд кончил. Он стоял, прижавшись спиной к дверной доске: казалось, что черные створы ее, как планки немецкой механической игрушки, щелкнув пружиной, вдруг разомкнутся и, проглотив короткую, игрушечно-миниатюрную фигурку Тюда, автоматически сомкнутся над ним и его новеллами.

Но председатель не дал молчанию затянуться:

– Все снесло течением. Это бывает.

– Тогда бы я не причалил, согласно заданию: конец разрешен в смерть, – парировал Тюд.

– Фэв и не возражает: конец решен. Но в середине вы спутали кубики: думается мне, не по неумению. Не так ли? Вашу улыбку разрешите считать ответом. Ввиду этого нам предстоит получить от вас штрафной рассказ. Почетче и покороче. Перерыва, я думаю, не нужно. Мы ждем.

Тюд досадливо передернул плечами. Видно было, что он устал: отделившись от порога, он вернулся в свое кресло у камина и с минуту рылся зрачками в россыпях искр и пляске сизых огоньков.

– Ну что ж. Поскольку о людях импровизировать трудно, потому что они живы – даже выдуманные – и действуют иной раз дальше авторской схемы, а то и вопреки ей, – придется прибегнуть к константным героям: короче – я расскажу вам о двух книгах и одном человеке; всего-навсего одном: с ним-то я управлюсь.

Заглавие мы придумаем к концу вместе, а что касается титулблаттов моих книг-персонажей, то вот они: «*Ноткер Заика*» и «*Четвертое евангелие*». Третий, человеческий, персонаж принадлежит не к людям-фабулам, а к людям-темам: люди-фабулы очень хлопотны для сочинителя, – в их жизнях много встреч, действий и случайностей; попадая в рассказ, они растягивают его в повесть, а то и в роман; люди-темы существуют имманентно, бессюжетные жизни их в стороне от укатанных дорог, они включены в ту или иную идею, малословны и бездеятельны: одним из таких и был мой герой, все бытие которого сплющилось меж двух книг, о которых сейчас расскажу.

Человек этот (имя его безразлично) даже при живых родителях производил впечатление сироты, слыл чудачком. С ранних лет он предался клавиатуре рояля и целые дни проводил над

выискиванием новых звуко сочетаний и ритмических ходов. Однако слушать его если кому и удавалось, то лишь сквозь стену и запертую дверь. Некий музыкальный издатель был однажды чрезвычайно удивлен, когда на прием к нему явился художавый юноша и, не подымая на него глаз, вынул из папки нотную тетрадь, озаглавленную: «Комментарий к тишине». Издатель, сунув обкусанные ногти внутрь тетради, полистал, вздохнул, оглядел еще раз заглавную строку и возвратил рукопись.

Вскоре после этого юноша запер свою клавиатуру на ключ и попробовал променять нотные значки на буквы; но он наткнулся и тут на препятствие еще менее преодолимое: ведь он был – повторяю еще раз – человеком-темой, а литература наша вся на фабульных построениях; он, понимаете ли, не умел раздробляться и ветвить идеи, он был, как и надлежит человеку-теме, живым стремлением не из единого в многое, а из многого в единое. Иногда в коробках с перьями нет-нет да и попадется нерасщепленное перо: оно такое же, как и все, и заострено не хуже других, – но писать оно не может.

Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека, с упорством нерасщепленной цельной натуры решил насильно овладеть этим самым *множеством*; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и омножествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, – и поезда повезли его от станций к станциям по разноязычному и лоскутному миру. Записные тетради кандидата в писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где все чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.

И наконец, – это случилось после многих месяцев скитания, – они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки, и здесь, среди взбудораженной книжной пыли, был отыскан Ноткер Заика; хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсутствовать ровно тысячу лет тому назад: кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить отлывшее в расцветшее. И наш незадачливый – до сих пор – писатель деятельно принялся за пересоздание Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединенного, зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нем, как однажды, гуляя по горному срыву, он услышал визг пилы, стук молота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошел до поворота тропы и увидел артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, – вернувшись в келию, – сел за сочинение хорала «In media vita – mors»<sup>3</sup>. Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадях-библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: все же, с разрешения настоятеля, он унес с собой в номер гостиницы целую кипу полуистлевших нотных листов и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того неотысканного хорала. И

<sup>3</sup> «Посредством жизни – смерть» (лат.).

ночью он ему приснился – величавый и горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «In media» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика, или *Balbulus*, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и слоги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговей пред звуко сочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, *хотя бы ценою слов*, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пестрыми флажками, мнемоническими символами, закреплявшими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги, – тогда, задержавшись на одном каком-нибудь *le alliluja*, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысли слог ради иных заумных смыслов: эти упражнения Ноткера в области так называемого атексталиса особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заики завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сенгалгленте герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тотчас же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить ее в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях книги: *S-um*.

– Бессмысленный слог, – пробормотал из своего угла Фэв.

– Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отрывавшее начальное *S* от *um*. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил еще одну чернильную черту, отделявшую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»... и так далее и «Не воспрекословит, не возопиет и никто не услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «...Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтересован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил еще несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтем отметин, – и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или: «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчеркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова, – например: «Но Он уходил в пустынные места...» или: «И Иисус молчал», – то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы, – и всякий раз это был рассказ о вопросах, не дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь и вообще *говорили*, здесь было отмечено и врезано – острием мимо слов

до конца. Теперь было ясно: на полуслипшихся желтых полях ветхой книги рядом с отказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей пятое Евангелие: *От молчания*. Теперь было понятно и чернильное S – um: оно было лишь сплюсненным Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментировать то, что... ну, одним словом, книга убила книгу – с одного удара, – и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и...

Тюд резко повернулся в сторону Рара. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушаая и не слыша.

– Что же касается до заглавия, – поднялся Тюд, – то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово...

– «Автобиография», – отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком – из хихиканий, одышливых, всхрипов, клекота и подвизгов – смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.

Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслед, но знакомое пожатие, охватив локоть, остановило меня:

– Два-три вопроса, – и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выпрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успеть догнать Рара. Наконец пальцы и вопросы разжались – и я бросился вдогонку за уходившим. Под огненными свесами фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя ее, я впопыхах не заметил палки, тыкавшейся впереди идущего о тротуар:

– Простите, что я вас беспокою...

Человек, которого я принимал за Рара, повернул свое лицо и молча уставился в меня нежданно сверкнувшими кругами стекол.

Растерявшись, я забормотал неведь что и шарахнулся вспять. Вопросу, мучившему меня в течение всей этой недели, приходилось дожидаться ближайшей субботы.

## IV

В следующую субботу очередь по вскрытию замыслов принадлежала Дяжу. Я вошел в комнату пустых полок как раз в момент, когда рассказ должен был начаться. Стараясь спрятаться от круглых очков, вскинувшихся мне навстречу, я отодвинул свое кресло к камину, дергающему за черные тени неподвижно застывших людей, – и тотчас же стал беззвучен и неподвижен, как и все.

Дяж, боднув воздух рыжей щетиной и подперши подбородок набалдашником палки, изредка отстукивая ее концом точки и тире, начал рассказ.

– Эксы: так называли или, вернее, будут когда-нибудь называть те машины, о которых попробую сегодня рассказать. Собственно, в науке они были известны под более сложными и длинными наименованиями: дифференциальные идеомоторы, этические механоустановки, экстериоризаторы и еще не помню как; но масса, сплющив и укоротив имена, называла их просто: эксы. Однако все по порядку.

Можно считать утерянной дату дня, когда идея об эксах впервые впрыгнула в голову человека. Кажется, это было чуть ли еще не в середине двадцатого столетия или и того раньше. У скрещения двух улиц большого, достаточно шумного и сутолочного города, в одно из солнечных и ветровых утр под магазинной витриной стояло, крича вперебой, несколько продавщиц бюстгальтеров. Ветер, вырывая их товар из рук, дергал за тесемки и сферически вздувал кружевной батист. Люди, толкаясь и торопясь, шли мимо, не обращая внимания ни на проделки ветра, ни на назойливые приставания продавщиц. Только один человек, переходивший как раз в это время через грохочущую улицу, вдруг задержал шаг и пристально уставился в реюющие в воздухе формы. Продавщицы, заметив взгляд, закричали и закивали ему с тротуара: у меня – не у нее – у меня – не берите у них – мои дешевле! Автомобиль, почти налетев на созерцательного пешехода, круто стал, – и шофер яростно кричал сквозь стекло, грозя расплющить в лепешку. Но человек, вдруг оторвавшись глазами от батиста, подошвами от асфальта, продолжал путь, не превращаясь ни в лепешку, ни в покупателя. И если б некий суматошный юноша, который принял нашего прохожего, очевидно, за кого-то другого, подскочивший и отскочивший, умел бы сквозь глаза видеть и то, что за ними, – он бы понял раз на всю жизнь: все всегда всех принимают *за других*.

Но ни юноша, ни шофер, ни продавщицы, наткнувшись глазами на проходящего чудака, конечно, не видели и не подозревали, что именно в этот миг и именно в эту голову впрыгнула идея об эксах. Ассоциации в голову таинственного прохожего, не оставившего векам ничего, кроме разрозненных черновых безымянных листков, шли так: «ветер – отрыв и наполнение внешних форм – эфирный ветер – отрыв, объективация, наполнение *внутренних форм* мысли – вибрации, виброграммы внутри черепа; если под удар эфирного ветра – то все «я» наружу, в мир, – и к черту тесемки». Затем лёт ассоциаций попал в скрепы; заработала логика и заворошился десятилетиями копимый опыт: «необходимо социализировать психики; если ударом воздуха можно сорвать шляпу с головы и мчать ее впереди меня, то отчего не сорвать, не выдуть из-под черепа управляемым потоком эфира все эти прячущиеся по головам психические содержания; отчего, черт побери, не вывернуть все наши *in* в *ex*».

Человек, застигнутый идеей об эксах, был идеалист, мечтатель; его несколько пестрая и разбросанная эрудиция не могла реализовать идеи, впрячь мечту в хомут. Легенда говорит, что Аноним этот, оставивший людям свои гениальные наброски, умер полуголодным и безвестным и что все его формулы и чертежи, во многом наивные и практически бессильные, долго странствовали из рук в руки, пока не попали наконец к инженеру Тутусу. Для Тутуса мышление отождествлялось с моделированием, упиралось в вещи, как ветер в паруса; еще в юности,

заинтересовавшись старым принципом идеомоторности, он тотчас же конкретизировал его в модель идеомотора, то есть машины, подменяющей физиологическое стяжение мускула механическим извне – из машины – привнесенным воздействием на мускул. Старинные опыты с тетанусом у лягушки, еще до знакомства Тутуса с черновиками Анонима, были им разработаны и довершены путем смелых и четких опытов. Включая, например, слабую мускульную сетку, охватывающую глаз, в цепь своего идеомотора, Тутус заставлял глаз двигаться в ту или другую сторону, останавливая его – при помощи той же машины – на фиксировании любого предмета, вызывая истечение слез, поднятие и опускание века. Однако даже эти довольно примитивные опыты над созданием – как выражался Тутус – «искусственного зрителя» были мало показательны и плохо закрепляли феномен: дело в том, что физиологическая, идущая из нервных центров иннервация продолжала действовать, отклоняя, как бы интерферируя искусственную иннервацию, получаемую из машины. Знакомство с замыслами Анонима сразу же расширило кругозор и размах опытов Тутуса: он понял, что необходимо захватить машиной именно те движения и мускульные сжатия человека, которые имеют ясную *социальную* значимость. Записки Анонима говорили о том, что *действительность*, слагающаяся из действий, «имея слишком много слагаемых, слишком мала как сумма». Лишь отняв иннервацию у разрозненных, враздробь действующих нервных систем и отдав ее единому центральному иннерватору, учил Аноним, можно планомерно организовать действительность, раз навсегда покончив с кустарничающими «я». Заменив толчки воли толчками одной, так называемой этической машины, достроенной согласно последним достижениям морали и техники, можно добиться того, чтобы все отдали все, то есть полного ех.

Тутус и ранее, совершенствуя свой идеомотор, о предсказанности которого он ничего не знал, успел включить в круг его действия основные, связанные с центробежной и системой мозга мышцы. Но один несколько неприятный казус надолго остановил и спутал ему работу: казус заключался в следующем. Тутусу довелось познакомиться с неким видным общественным деятелем, человеком большой воли и властности, но страдающим странно осложнившейся болезнью: вначале это была простая гемиплегия, расплзшаяся затем по всему телу и атрофировавшая почти всю управляемую волей мускульную систему. Болезнь обезмускуливала этого человека постепенно; элементарнейшее движение руки, каждый шаг, артикуляция слова, стоили – что ни день – все больших и больших усилий, и по мере того, как воля закалялась и, концентрируясь в борьбе за выявление, непрерывно интенсифицировалась, круг действий – что ни день – стягивался: тело обезмускуливалось и расслаблялось, пока дух этого человека не оказался как бы накрепко завязанным внутри мешка из кожи и жира, безвольно обвисшего и почти бездвижного. Ища выхода, несчастный обратился к помощи Тутуса. Тот приступил к пробуждению деятельности. Каждый день клавиатура иннерватора, стягивая и разряжая мускулы больного, заставляла тело шагать от стены к порогу и обратно, двигать руками и артикулировать выстуканные ею слова. Но действенность, приданная пациенту, была чрезвычайно ограничена: волоча за собой извивы проводов, тело политика двигалось, точно на корде, толчкообразно и мертво, вслед стукам машинных клавиш. Правда, пациент мог еще и без помощи машины писать медленные и трудные каракули, определявшие программу очередных сеансов. Однажды, после трех недель попыток прорыва в жизнь, наглухо завязанный мешок из кожи и жира, повозив обвислыми пальцами с вдетым меж них графитом по бумаге, накаракулил: *самоубейте*. Тутус, обдумав программу дня, решил превратить ее в своего рода *experimentum crucis*<sup>4</sup>: даже в опытах с этим, казалось бы, начисто обезмускуленным объектом работу механического иннерватора все же портили не поддающиеся учету каракули воли, впутывавшиеся в точную партитуру машины. Трудно было предугадать все возможности волевых сопротивлений, и в опыте с самоубийством следовало ждать момента наиболее резкого, критического

<sup>4</sup> Испытание (доказательство) крестом, пыткой (*лат.*).

конфликта между волями машины и человека. Экспериментатор действовал так: удалив из револьверного патрона порох, он ввинтил в пустую гильзу пулю и, войдя в поле зрения своего живого объекта, показал ему патрон, тут же, на глазах, сунул его в гнездо стального барабана, поднял спусковую скобу и вложил орудие смерти в бездвижные торчки пальцев. Затем начала работать машина: пальцы самоубиваемого, дернувшись, схватили револьверную ручку; указательный дал неточный рефлекс, – Тутус подошел и поправил, вплотную вдвинув заупрямившийся палец во вгиб курка. Еще нажим клавиши, – и рука, подпрыгнув, согнулась в суставе и – добавочным движением – дуло к виску. Тутус, снова подойдя к объекту, внимательно осмотрел его: лицевые мускулы в порядке, без противодействий, правда, глаза дернули ресницами и точки зрачков поползли черными пятнами вширь. «Очень хорошо», – пробормотал Тутус и повернулся, чтоб нажать последний клавиш, но – странно – клавиш не поддавался. Тогда экспериментатор нажал сильнее: и тотчас же у виска объекта сухо шелкнуло. Тутус сначала осмотрел машину и несколько раз подымал и опускал вновь свободно задвигавшийся тугой клавиш. Затем повернул выключатели, и вдруг человеческий мешок с непонятным своевољством стал сползать с кресла вниз, взмахнул, как подстреленная влет птица, конечностями, и оземь. Тутус бросился к объекту: тот был мертв.

Черновики Анонима, вернувшие – как я уже сказал – нашего экспериментатора к экспериментам, прежде всего заставили отказаться от старомодной системы проводов, зажимов и скреп, за которые моделирующий ум его, боявшийся прорывов в материк, так долго держался, стремясь закрепить непосредственность связи между передатчиком и приемником поступка. Тутуса впервые при перелистывании выцветших строчек безвестного мечтателя коснулось дуновение того «эфирного ветра», о котором грезил предвосхититель. Я слишком плохо разбираюсь в энергетике, чтобы идти за Тутусом в конструкционных деталях его новых беспроводных идеомоторов. Но и сам изобретатель скоро запутался в, казалось бы, вдоль и поперек известной ему области энергетической техники: дело в том, что физиологическая иннервация сопротивлялась толчкам, вынутым из проводов и рассеянными в эфире еще стойче, – и почти отчаявшийся Тутус после множества повторных опытов наконец понял, что, лишь изолировав – раз и навсегда – мускульную сеть от воздействий нервной системы экспериментируемых, как бы оторвав одну от другой, можно дать полное включение поступков, так называемого *поведения*, в идеомотор. В это-то время до него дошли вести об опытах итальянских бактериологов Нететти. Нететти-старший, еще задолго до работ Тутуса, открыл так называемых *паразитов головного мозга*. И до него наукой было полуустановлено существование миелофагов – форменных элементов, которые, усваивая мякоть периферических нервов, способствовали развитию так называемого неврита. Но можно считать, что Нететти, пользовавшийся всеми средствами микроскопии, и в особенности методами хемотаксиса, впервые натолкнулся на существование чрезвычайно сложной, часто ускользавшей от луча сильнейшего ультрамикроскопа, фауны мозга. Мало того, подражая терпеливым садоводам, как любил он говорить, Нететти искусственно получил всяческие виды и подвиды мозговых бактерий, собранных им в виде обыкновенных желатинных разводков внутри запаянных колбочек его коллекции. Он не мог в своей стеклянной бактериоразводне делать то, что делал некогда Мендель с пыльцой, во-первых, потому, что сами бактерии были неизмеримо меньше пылинок пыльцы, во-вторых, скрещивание тут было бессильно по бесполости микроорганизмов; но у него было другое преимущество: бактерии, поселявшиеся, например, на так называемых перехватах Ранвье, наиболее утонченных частях нейрофибрилл, в течение суток давали приблизительно столько же поколений, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким образом, обладая более, как выражался Нететти, компактным временем, экспериментатор мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире бактерий тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий. Короче, ему удалось вывести особый вид паразитирующих на мозге микро-

организмов, названных им *виброфагами*. Виброфаги, введенные особой инъекционной иглой под мозговые оболочки, тотчас же, стремительно множась, нападали, как гусеницы на ветви плодовых деревьев, на разветвления выводящих нервов, скучиваясь главным образом у места их выхода из-под мозговой коры; виброфаги не были, в точном смысле этого слова, ни паразитами, ни сапрофитами, – пробираясь внутрь неврилеммы, крохотные хищники эти пожирали *не материю, а энергию*, то есть питались вибрациями, энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, заставив мозгу все его окна в мир, бактерии эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движения своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Нететти-старшему приступить наконец к опыту, к которому он готовился всю жизнь. Надо вам знать, что человек этот, имевший бычью шею и голос скопца, всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о «врожденных идеях». «Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих виброфагов, – думал Нететти, – и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, *перехватят мир*, втекающий по нервным приводам в мозг; при этом необходимо лишь иммунизировать, поскольку возможно, двигательные нервы, особенно аппарат артикуляций, – и тогда душа расскажет нам свои *ideae innatae*»<sup>5</sup>.

Этот жестокий чудака (большинство чудаков жестоки), открывавший незримости, был слеп на очевидное – уверовав в ветхие Декартовы призраки, он стал производить свои рискованные опыты над младенцами прививочного пункта, при котором находилась его лаборатория. Результатом был нелепый и «жуткий», как писалось в тогдашних газетах, процесс. Старого ученого обвиняли и обвинили в смерти десятков детей: начав в лаборатории, он кончил в тюрьме. Работы бактериолога, надолго опорощенные и как бы смытые кровью жертв, были оставлены и забыты.

И Нететти-младший, захотевший реабилитировать имя, наследованное от отца, поневоле стал экспериментировать как бы *от противоположного*: отец старался закупорить *входы* в мозг, сын стремился живыми пробками бактерий закрыть все *выходы* из мозга. Нететти-младший, над которым *тяготел поступок*, опозоривший его отца, точно хотел покончить раз навсегда со всеми поступками. Казалось бы, не было человека более чуждого идеям Анонима, учившего об обогащении действительности действиями, и вместе с тем это и был тот человек, какой был нужен для реализации идей Анонима.

Молодой Нететти вскоре добился получения новой разновидности виброфагов: разновидность эта паразитировала только на двигательной системе нервной сети, селясь как бы между волей и мускулом. Но упрямому исследователю этого было мало: изучая химические процессы внутри двигательных нервных волокон, Нететти установил трудноуловимое различие между хемотаксисами отдельных нервных стволов: обнаружился, неожиданно для самого исследователя, совершенно изумительный факт: волокна, заведующие произвольными движениями человека, давали несколько иные химические реакции, чем волокна симпатической системы и вообще иннерваторов, выключенных из сферы волевого усилия. Старик Нететти, любивший старые философские схемы, наверное, стал бы опытно обосновывать давно всеми отброшенное учение о свободе воли, – но сын его, чуждый метафизическим реминисценциям, шел дальше, не оглядываясь ни на какие схемы: пользуясь все тем же методом хемотаксиса, он как бы переманил виброфагов на систему так называемой произвольной иннервации и, когда свойства этого нового подвида были закреплены, назвал эту своеобразную микрокультуру именем акциофагов, или, как определял он их впоследствии, «пожирателями фактов». Теперь, не рискуя сгнить в тюрьме, можно было инъецировать культуры «пожирателей фактов» внутрь фибрилл нервной системы. Но память о судьбе отца и, может быть, самое сопри-

<sup>5</sup> Врожденные идеи (лат.).

косновение с проблемой ликвидации поступков делали Нететти-младшего чрезвычайно осторожным в области поступков: пройдя обычный путь, ведущий от кроликов и морских свинок к homo sapiens'у, перед sapiens'ом он заколебался.

В одно из предвечерних раздумий бактериологу доложили о приезде издалека, требующем свидания. «Просите». Перешагнув порог кабинета, посетитель сразу же – три длинных шага – надвинулся на короткотелого итальянца, зажал его пухлую ладонь в своих тонких и цепких фалангах и, наклоня сверкающие пломбы над вздернувшимся кверху удивленным лицом Нететти, произнес:

– Тутус. Инженер. У вас – мельничные крылья, у меня – ветер – мелево пополам. Согласны?

– Какое мелево? – вскинулся Нететти, пробуя выдернуться из охвативших руку фаланг.

– Человеческое. Само собой. Я сяду, – и гость вдвинулся длинным костлявым телом в кресло. – Давайте мне ваших бактерий, а я вам – мой эфирный ветер, вдувающий в мускулы сжатия и расжатия, – и мы построим всю человечью действительность заново: сверху донизу – понимаете? Мы рыли туннель с разных концов – и вот встретились: киркой в кирку. Я давно слежу за вашими работами, хотя вы скупы на публикации. Я тоже. Но предугадываю: если соединить ваше *все* с моим *все* – они опрокинут *все*. Вот тут схемы (Тутус придвинул принесенный с собою портфель): но *ex* за *in*. Ну, покажите-ка мне ваших бацилл.

– Их не так легко увидеть, – попробовал отшутиться застигнутый врасплох Нететти.

– Смысл их видеть еще трудней. Но я вижу, понимаете ли, насквозь и всецело.

– Тут есть риск, – замялся было бактериолог.

– Беру на себя, – ударил Тутус портфелем о стол, – к делу. Вот список мускулов, которые надо эмансипировать от нервной системы. Иннервацию растительных процессов, кое-что из аппарата психических автоматизмов, пожалуй, можно бы им оставить: людям. Остальное под удар эфирного ветра: я закружу все лопасти и мельничные крылья в ту сторону, в какую хочу. О, мои эксы дадут чистый помол!

– Но нужны капиталы...

– От них не будет отбою. Увидите.

Состоялся своего рода конкордат.

И через малое время после его заключения правительства наиболее крупных держав получили – в порядке срочности и тайны – краткий мемориал Нететти – Тутуса, который, упираясь в точнейшие цифры схемы, предлагал реализацию эксов и исчислял необыкновенные выгоды, – как финансовые, так и моральные, – которые должны были явиться следствием сооружения этих установок. До некоторых адресатов проект не дошел, застряв в министерских канцеляриях, в некоторых был отвергнут, но иные правительства – главным образом, те, в которых валюта шаталась, государственный долг рос и где соломинки рассматривались всерьез и казались спасательными, – проект был передан в комиссии, спешно рассмотрен и дебатирован. Тутус сразу получил вызов из двух столичных центров, так что одному из правительств пришлось даже ждать. На ряде тайных заседаний, по выслушании докладов, было принято решение применить идею механической иннервации в деле борьбы с душевными болезнями. Дело в том, что в эпоху, о которой рассказ, количество душевнобольных непомерно возросло. Все усилия науки не могли справиться с этим бедствием, слишком тесно связанным с ростом психических нагрузок и кривизнами быта. Опасность усугублялась тем, что процент заболеваемости шел гигантскими прыжками вверх в области наиболее антисоциальных психозов: изоляция буйных, одержимых kleptomанией, эротическими формами, манией убийств и так далее, приобретающих обычно неизлечимый характер, требовала огромных средств и ложилась тяжелым бременем на государственные бюджеты. «Государство должно, – аргументировал проект, – для ухода за оторванными болезнью миллионами рабочих рук, отрывать еще сотни тысяч работников, расходуя при этом с каждым годом растущую сумму на постройку

новых изоляторов, содержание персонала и так далее. Но вместо того чтобы изолировать здоровых от больных, не лучше ли *изолировать болезнь от здоровья в организме душевнобольного*: ведь при психическом заболевании поражается лишь нервная система, система же мускульная остается незатронутой. Если ввести в организм выключенного из социальной работы душевнобольного путем инъекции, бактерий, открытых профессором Нететти, то мускульная система, похищаемая вместе с мозгом у общества, возвращается его законному собственнику; стоит лишь соорудить экс – и мускулы всех душевнобольных, переключенные со своих явно негодных и даже опасных для общества нервных центров на единый центральный иннерватор типа «Тутус А-2», будут работать совершенно безвозмездно – на пользу общества и государства, которому постройка относительно дешевого экса не только поможет снять с бюджета финансовый балласт, но и даст сразу огромное количество новой рабочей силы».

И вскоре – длинными стеклянными соломинами – пополз из земли экс. От прозрачных трубчатых складшей его потянулись туго натянутые из стеклистого металла, казалось, растворявшиеся в воздухе тросы и нити, – так что когда в день открытия и пуска первого экса праздничная толпа хлынула к металлическим загородкам, окружавшим гигантский экстеризатор, она ничего не увидела, кроме огороженной мгlistой пустоты (день был туманен). Тотчас пошли рассказы об украденных инженерами деньгах, о мнимых предприятиях и дутом бюджете. На трибуну взошел премьер-министр, снял с плечи цилиндр и, тыча рукой в пустоту, заговорил о какой-то светлой эре, насадно и длинно: выколачивая из себя слова, как пыль из старого и затоптанного ковра, премьер шурился близорукими глазами в огороженную пустоту – и вдруг как-то поперек слов подумал: «А что, если его и в самом деле нет?» Впоследствии экс отомстил премьеру, превратив его – в ходе событий – в экс-премьера.

Толпа, отслушав речь, разочарованная и насмешливая, начала уже расходиться, когда в воздухе неожиданно возник звук: это было тихое и тонкое, будто стеклянное, дребезжание, подымавшееся вверх и вверх, как голос непрерывно натягиваемой струны: экс начал свою работу.

На следующий день, уже с самого утра, торопящиеся к началу служб заметили появление на улицах города каких-то не совсем понятных прохожих: прохожие эти, одетые, как и все, шли как-то толчкообразно и вместе с тем метрономически, – точно отстукивая по два шага на секунду, их локти были неподвижно вжаты в тело, голова точно наглухо вколочена меж плеч, и из-под лбов неподвижные же, словно ввинченные, круглые зрачки. Торопящиеся по своим делам не сразу догадались, что это первая партия сумасшедших, выпущенная из изоляторов, – людей, с отсепарированными по методу Нететти мускулами, включенными в поле действия экса номер один.

Организмы этой первой серии были предварительно обработаны виброфагами; отделенная, совершенно безболезненно, от мозга и настроенная соответствующим образом мускульная сеть каждого из этих новых людей представляла собой естественную антенну, которая, воспринимая эфирную волю гигантского иннерватора, проделывала машинную, единую на всех них, действительность.

К вечеру слух о подвижных эфирном ветром людях обежал весь город; люди, сгрудившись у перекрестков, в радостной ажиотации приветствовали криками возвращающихся с работы эксовых людей, но те, ни единым движением не реагируя на происходящее, шли тем же толчкообразным – по два удара на секунду – шагом, с локтями, притиснутыми к телу. Женщины прятали от них своих детей: ведь это же сумасшедшие – а вдруг? Но их успокаивали: чистая работа.

У одного из перекрестков произошла неожиданная сцена: какая-то старуха в одном из проходящих новых людей узнала своего сына, которого еще два года тому свезли, скрутив рукавами смирительной рубашки, в изолятор. С радостным криком мать бросилась к нему, называя его по имени. Но включенный в экс прошагал мимо, мерно стуча подошвами об асфальт, ни

единый мускул не дрогнул на его лице, ни единый звук не разжал его крепко стиснутых губ: эфирный ветер веял, куда хотел. Забывшуюся в истерике старуху унесли.

Первая серия экс-людей, как назвал их кто-то в насмешку, умела проделывать лишь чрезвычайно несложные движения, слагавшиеся в процесс ходьбы, подымание и опускание какого-нибудь рычага – и только. Но уже через две-три недели, путем постепенного введения так называемого дифференциального снаряда, человеческое содержимое изолятора для умалишенных стало получать более сложную обработку: жизнь, организованная в них по системе Нететти – Тутуса, расширялась и сложилась: так, появились чистильщики сапог, с особой эксовой методичностью движущие щетками по поставленному на колодку сапогу: вверх – вниз, вверх – вниз; в одной из фешенебельных гостиниц предметом любопытства, собиравшим толпы к ее подъезду, стал приводимый в движение эксом швейцар, который, стоя с утра до ночи с рукой на ручке выходной двери, то открывал, то закрывал короткими и сильными толчками. Но строителями первого иннерватора не были учтены все случайности. По крайней мере, однажды произошло следующее: знаменитый публицист Тумминс, выйдя из своего номера в гостинице, спускался по лестнице: он шел медленно и, цепляясь глазами за вещи и лица, настойчиво искал нужную ему для очередной книжки журнала тему: случайно зрачки его зацепились за зрачки швейцара, автоматическим движением раскрывшего перед ним выходную дверь: зрачки эти заставили Тумминса попятиться, – он ударился спиной о стену и, не отводя глаз от феномена, раздумчиво прошептал: «Тема».

И вскоре появилась, подписанная именем популярнейшего писателя, статья, озаглавленная: «В защиту in». В статье с внушающей талантливостью описывалась встреча двух пар зрачков: отсюда и оттуда. Тумминс приглашал всех граждан и строителей эксов в первую очередь почаще заглядывать в глаза машинизированных людей, и тогда, писал он, все они поймут, что нельзя покушаться на то, на что покушаются эксы. Нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат. Человек существо свободное. Даже сумасшедшие имеют право на свое сумасшествие. Опасно передавать функции воли машине: мы не знаем еще, чего эта машинная воля захочет. Пламенная статья заканчивалась лозунгом: in против ex.

В ответ на выступление Тумминса в ближайшем номере официоза появилась передовица, которую молва приписывала Тутусу. В передовице указывалось на несвоевременность истерических выкриков по поводу каких-то зрачков, когда дело идет о спасении всего социального организма; тирады о «свободной воле» передовица объявляла запоздавшими на несколько веков – и даже чуть смешными в эпоху научно обоснованного и проверенного детерминизма; насущно важно, поскольку речь идет об опасных для общества волях душевнобольных, дать им не свободу воли (которую пришлось бы тоже искусственно изготавливать – за неимением таковой в природе), а свободу от воли, направленной антисоциально. По этому пути правительство намерено идти неуклонно и неустанно, делая новые и новые человеческие включения в экс.

Но Тумминс не унимался: на аргументы он отвечал аргументами и, не довольствуясь журнальной полемикой, стал организовывать «Общество доброго старого мозга», как он назвал однажды группу единомышленников, которые, собираясь на митинги протеста, вдевали в петлицы металлическое изображение двух полушарий мозга с лозунгом поперек: in contra ex. И когда правительство начало строить рядом с эксом номер один новый мощный экстериоризатор номер два, сторонники «доброго старого мозга» двинулись было толпой к месту стройки, грозя разрушить машины. К месту происшествия были двинуты войска, и в поддержку им, как бы в доказательство способности экса к самозащите, по улицам зашагали, методически отступая свои два шага в секунду, отряды иннервируемых машиной вооруженных «экс-людей».

Ждали новых репрессий и в первую голову арестов среди членов тумминсовской организации, но таких не последовало. На тайном заседании министров, по докладу Тутуса, постепенно забиравшего все большую и большую власть, было принято решение, выполнение которого возлагалось на экс. Внезапно Тумминс куда-то исчез, – ненадолго, дня на три, – после чего

ошеломляюще скоро переменял свое *contra* на *pro*. Говорили, что Тумминс подкуплен, что он действует под угрозой смерти и так далее: все это было неверно – Тумминс был просто включен в экс. Усовершенствованный дифференциатор, овладев артикуляцией знаменитого оратора, завладев движениями его пера, повернул все его слова, так сказать, оглоблями назад. В душе Тумминс все так же ненавидел и проклинал экс, но мускулы его, оторванные от психики, продолжали четкую и пламенную агитацию, проводя кампанию по постройке новых этических машин. Сначала почитатели великого идеолога, не веря в измену своего вождя, говорили о подлоге и подмене рукописей, но автографы Тумминса, фотографически воспроизведенные и даже выставленные за стеклом витрины городской ратуши, заставили замолчать самых отъявленных скептиков. Обезглавленная партия постепенно распалась, тем более что перспективы, связанные с постройкой новых машин, многим и многим казались заманчивыми. Так, правительство обещало переложить воинскую повинность с здорового населения на включенных в экс душевнобольных, заявляя, что с точки зрения социальной этики и гигиены рациональнее жертвовать негодными, чем годными. Для многих здоровых, таким образом, название «этических», приписываемое машинам, казавшееся вначале неестественным и смешным, теперь получало некое оправдание и приобретало вовсе не смешной смысл.

Городок эксов рос и рос. Казалось бы, время было задать вопрос: зачем их столько; не слишком ли много, если имеют в виду одних сумасшедших. Но увлечение стройкой захватило всех. Казалось, эфирный ветер, перейдя за указанную ему черту, сдул прочь все критицизмы и скептицизмы в мире. Боюсь, как бы он не сдул мне и моих слов...

Даж, вдруг перестав отстукивать палкой об пол свои тире и точки, как-то застопорился и беспокойно оглядел нас кругами стекол:

– Да, я чуть-чуть не проскочил стрелки: тут тема – как я ее вижу – расходится двумя вариантами. Можно, совершенствуя экс, превратить их эфирное дуновение в вихрь, против которого окажутся бессильными все естественные физиологические иннервации, и тогда... но тут мне пришлось бы распротиться с побочной темой «пожирателей фактов». Это не годится: раз введен образ, ему должно досуществовать до конца. Структура сюжета, как и структура экса: включение возможно – выключение нет. Поэтому попробую сквозь тему на косом парусе. Итак...

Работы бактериологической лаборатории Нететти не прекращались. Доверив своим помощникам получение возможно более стойкой разновидности виброфагов, сам ученый занялся проблемой, возможен ли – по отношению к пожирателям фактов – иммунитет. Вскоре оба задания были более или менее выполнены: с одной стороны, была получена разновидность чрезвычайной сопротивляемости, способная переносить засушивание, колебание температур, сохраняющая жизнеспособность, правда, на не слишком продолжительное время и вне мозга, в любой среде, – с другой стороны, самим Нететти было открыто новое химическое соединение, названное им инитом, которое, будучи введено в кровь, проникало в мозг и, оставаясь совершенно для него безвредным, убивало виброфагов; самый организм, после введения в него инита, оказывался навсегда иммунизированным по отношению к виброфагам. Были проделаны испытания инита, после введения вещества в кровь нескольких включенных в экс буйнопомешанных болезнь снова хлынула к ним из мозга в мускулы: экспериментируемые, бившиеся с пеной у рта на полу лаборатории, тотчас же были уничтожены, а результаты испытаний были признаны удачными. По настоянию Тутуса профессор Нететти занялся изготовлением инита. На очередном тайном собрании Верховного Правительственного Совета Тутус, поблескивая пломбами, докладывал:

– Я считал бы себя сумасшедшим, если б согласился ограничиться применением эфирного ветра к одним лишь сумасшедшим. Невидимый лес эксов растет с каждым днем. Я давно уже отказался от метода искусственной настройки мускульных систем. В сущности, любая мускульная сеть, если ее изолировать от мозга, может быть включена в иннервацию соответ-

ствующей частоты. Каждый из построенных эксов рассчитан на волны той или иной частоты и, будучи пущен в дело, включит в себя целую, ну, скажем, серию людей, как бы самовключающихся в данную частоту. Разумеется, при условии изолированности их мускульных приемников от иннервации изнутри, то есть опять того же, черт бы его побрал, «доброго старого мозга», с которым у нас было и, боюсь, будет еще много неприятных хлопот. Резюмирую: наша страна – как это всем известно – поставляет на мировой рынок всяческие консервы, экстракты, сушеные фрукты и прессованные питательные вещества. Новая разновидность виброфага достаточно жизнеспособна, чтобы, пройдя сквозь прессование, сушку и проч., и проч., добраться до организмов наших всесветных потребителей, а там по токам крови в мозг и... Инит мы сохраним, разумеется, только для себя. О преимуществах, которые даст нам все это, о той новой мировой ситуации, которая должна быть отыскана между инитом и эксом, вам, государственным мужам, объяснять излишне.

И вскоре после этого бесчисленные разводки виброфагов, впрессованных в бульонные кубики, засушенных и замороженных внутри всякой снеди, запаянных в миллионы консервных банок, застранствовали навстречу миллионам ртов доверчиво проглотивших себя самих, – если мне позволено будет так выразиться. Первые же граммы инита, изготовляемого чрезвычайно медленно самим Нететти, без допуска каких бы то ни было помощников, не вышли за узкий круг правителей и их приближенных: дело в том, что эти люди, отдавшие эксам всех умалишенных, обезопасить от возможного включения в машину решили в первую голову наиболее здравомыслящих, то есть самих себя. Разумеется, в дальнейшем, по мере получения новых граммов и скрупул, постановлено было распределять их от центра к периферии среди всех полномочных граждан государства, на деньги которых, собственно, и строились все эксы, но... Но внезапно умер Нететти: его нашли со вспухшей шеей и вспученными белыми глазами среди химических стекляшек его тайной лаборатории. Никаких записей и формул изготовления инита обнаружено не было. Стекланный пузырек с несколькими граммами инита, который ученый носил при себе, сберегая от посторонних глаз (об этом знали лишь Тутус и члены Тайного Совета), отыскан не был. Даже Тутус был взволнован и растерян. На экстренном собрании Совета он, привыкший лишь отвечать или не отвечать, впервые спросил:

– Что делать?

Тогда поднялся самый молодой из всей коллегии по имени Зес.

– Почему не Зез? – вскинулся председатель и обвел нас всех недоуменной улыбкой. Замыслители переглянулись.

Но Дяж продолжал отстукивать свои точки.

– Так вот. Встал, говоря я, некий Зес, ничем особенным себя до сих пор не проявивший. Это был человек умный, но жестокий, – тот, скажем, традиционный злодей, без которого не обходится ни одно фантастическое, принужденное заменять характеры схемами, повествование. Д-да. И ответ был дан: пустить в дело эксы. Все. И немедленно.

В коллегии произошло движение. Тутус возражал:

– Но ведь план иммунизации не проведен. Следовательно, в эксы могут включиться и...

– Тем лучше. Чем меньше управляющих, тем больше управляемость. И после: учтен ли собранием факт исчезновения инита? Наши замыслы, вместе с тайной инита, могут попасть – если уже не попали – в чужие руки. Пока мы будем медлить, слухи о наших замыслах переползут через границу, но и ранее того наши сограждане, если в них есть хоть капля здравого смысла, успеют разделаться и с эксами, и с нами: или вы думаете, что они простят нам наш иммунитет?

– Да, – заколебался Тутус, – но пуск эксов все же преждевременен. Ведь бациллы не успели еще добраться до всех мозгов и на всей планете. И затем, я не уверен, что наши предельно мощные эксы, даже будучи пущены все сразу, включают в сферу своего действия – скажу

закругляя – более двух третей человечества. Возможны индивидуальные отклонения мускулатур – всех не разберешь по сериям.

– Очень хорошо, – подхватил Зес, – две трети мускулатуры всего мира – это более чем достаточно, чтобы выключить невключенных и из жизни: начисто. Предлагаю конкретное решение: бациллинированные консервы пустить и на внутренний рынок. По самым дешевым ценам. Второе: какой бы ни было ценой, в ближайшие же дни достроить последний сверхмощный экс. Третье: немедленно после его окончания перейти, так сказать, от науки к политике.

Но события надвигались даже быстрее, чем их расчислял Зес, соглашавшийся с Тутусом в том, что бациллы скорее мыслей проберутся в мозг. Уже наутро после экстренного заседания рабочие не вышли на стройку экстериоризатора; на улицах было заметно какое-то недоброе оживление: по рукам ходили свежееотпечатанные подпольные листовки; за городом загудел митинг; войсковая часть, посланная для окружения сборища, не выполняла приказа. Зес понял, что на счету даже минуты, он не стал тратить их на созыв Совета, а бросился, вместе с десятком приверженцев, в невидимый городок, где стояли прозрачные мачты иннерваторов: никто не остановил их – весь персонал, обслуживающий машины, находился сейчас на митинге.

Толпа, созванная прокламациями, сгрудилась – голова к голове – в огромной ложбине, начинавшейся тотчас же за городской чертой. Ораторы кричали с деревьев по-птичьи пронзительно: одни о заговоре, будто бы уже полураскрытом, другие – о народных деньгах, невесте на что растраченных, третьи – об измене народу, четвертые – о мщении и расправе. Из шевелящегося муравейника выдергивались кверху кулаки и палки, прокатывались грохоты гимнов и рев проклятий. Из-за шума никто не слышал тихих, стеклито-тонких звуков, внезапно всверлившихся в воздух. Внезапно уже начало происходить что-то странное: часть толпы, вдруг отделившись, выклинилась из митинга и двинулась назад в улицы. Ораторы, сидя на своих деревьях, подумали было вначале, что это их слова толкают к действию, но они ошибались – это было дело пущенных в ход первых эксов. Толпа примолкла. Теперь были ясно слышны сплетающиеся звоны иннерваторов; вот зазвучал еще один, острый и вибрирующий, и новая процессия, накапливающая людей, как магнит железные опилки, потянулась, безлюдя митинг, под углом в девяносто градусов к первой. Даже некий молодой агитатор, сидевший на дубовом суку, теперь уже ясно видел, что так не идут на месть и разгром: все, включавшиеся в шествие, шагали, как-то странно втиснув локти в тело и автоматически четко отстукивая шаг. Пока юный агитатор, почти плача от обиды и гнева, пытался кричать вслед уводимым, невидимое что-то, вдруг охватив его мускулы, разжало кисти руки и притянуло локти к телу; теряя равновесие, юноша грохнулся с сука оземь, но не успел уже закричать: невидимое что-то притиснуло челюсть к челюсти, пресекло крик и, задвигав вдруг тяжами расшибленных ног, заставило их, сгибая и разгибая им колени, присоединить агитатора к процессии: в душе у юноши бушевала ненависть и бессильное бешенство: «Только бы добраться до дому, взять оружие – и тогда посмотрим», – бунтовал мозг, но мускулы задвигали тело в сторону, противоположную дому: «Куда я иду?» – металась изолированная мысль, а тем временем шаги, точно отвечая на вопрос, медленно – по два удара на секунду – подводили собственника мыслей к железной ограде невидимого городка. «Тем лучше, – обрадовался агитатор, – вас-то я и искал», – и он почти со сладострастием представил себе, как будет бить чем ни попало по прозрачным нитям, как подкопает стеклянную мачту и порвет провода от подземных роторов: шаги, как бы поддакивая, подвели его к сплетениям самого большого, еще не вполне законченного сверхсильного экстериоризатора; юноша напряг все силы, – казалось, таинственное что-то помогало ему, – он схватился за стеклянную, полуввинченную трубу, и тут руки, как будто нечаянно соскальзывая с скользкой поверхности, стали медленно, но методически довинчивать мачту: только теперь несчастный понял, что вместе с другими, автоматически распределившимися по площади городка людьми, он работает над достройкой эксов.

Эфирный ветер, начав дуть от невидимого городка, быстро попопрокидывал конституции государств, окружавших страну, приютившую идею Нететти – Тутуса. В несколько порывов эфира было сделано несколько революций: Зес называл их «революциями из машины». Делалось это чрезвычайно просто: дергая людей за мускулы, как за веревочки у движущихся кукол, экс, действующий по определенному радиусу, накапливал их в столичных центрах, окружал куклами государственные учреждения и дворцы, заставляя толпы артикулировать – всех, как один человек, – какой-нибудь несложный в два-три слова лозунг. Людям, избегнувшим включения в иннерватор, оставалось бежать – подальше от эфирных щупалец машины. Но вскоре был закончен и пущен в ход сверхсильный экс, достававший до мускулов и через океаны. Сбившиеся в беспорядочные толпы беглецы пробовали организовывать сопротивление: на их стороне были некоторые преимущества – гибкость и многосложность движений, которых не было у толчкообразно движущихся, шагающих по прямым линиям, не способных к ориентировке новых людей. Тогда началось методическое, по квадратам, истребление невключенных. Идеально ровные шеренги «новых» шли, как косари по зрелой пашне, – от межи до межи, – скашивая все живое прочь с пути. В смертельной тоске люди прятались в чащу лесов, зарывались в землю; иные же, имитируя автоматические движения новых, примыкали к шеренгам их, лишь бы не быть убитыми. Работа по очистке человеческого сора – как выразился однажды наш Зес – корректировалась на местах специальными наблюдателями из числа тех двух-трех сотен иммунизированных, на которых работали эксы. Когда эфирная метла кончила мести – все территории были соединены в одно мировое государство, которому было дано имя, сочетающее название машины и реактива: Эксиния.

После этого диктатор Зес объявил о переходе на мирное строительство. Прежде всего необходимо было озаботиться о создании человеческого аппарата, который мог бы достаточно точно, с квалифицированной автоматичностью, обслуживать аппараты системы Тутуса. Дело в том, что в период переворота и борьбы у машин приходилось работать все той же горсточке иммунизированных: управление эксами требовало сложной системы движений и учета столь же сложной сигнализации. Последнее создание Тутуса – экс для управления всеми эксами, был наконец воздвигнут и освободил олигархов в значительной степени от нервной и трудной работы по подаче иннервации. Второй реформой была ликвидация в Эксинии народного образования: представлялось совершенно излишним обучать тому или этому людей, если и это и то могли проделать иннерваторы: графа расходного бюджета по просвещению массы была заменена графой расходов на усовершенствование единой центральной нервной системы, сконцентрированной в невидимом городке. Затем «ех» каждого человека, его мускульная потенция была взята на учет, и, сидя у клавиатуры центрального экса, Зес с точностью знал ту сумму мускульной силы, запас труда, который можно было в любой момент бросить на выполнение того или иного задания, распределить и перераспределить как угодно. Вскоре города Эксинии украсились грандиозными, циклопической мощи сооружениями, правда, застройка велась по единому плану, ориентирующему по линиям эфирных волн: прямые, как дорожки кегельбанов, улицы – от жилых корпусов к фабрикам и обратно – легли все и всюду по параллелям к меридианам и линиям долгот. Сами работники, из которых иннерваторы брали все наличие их сил, стали жить в просторных и светлых дворцах, получая изобильную пищу, но радовало ли их это – неизвестно. Психика их, отрезанная от внешнего мира, изолированная в их, разлученных с мускулами, мозгах, не давала ни малейшего знака о своем бытии.

Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о ее продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения еще одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира, бросал мужчин на женщин, случал и разлучал с таким расчетом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати – один из иммунизированных, лич-

ный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, – ну, чтобы не искать долго имени, – назовем его Шагг.

– У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имен, – дернулся в кресле Шог, – и я советовал бы вам...

– К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, – возвысил голос председатель, – продолжайте рассказ.

– Так вот, этот Шагг, еще задолго до всяких эксификаций тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества одного Шагга, ставила его ни во что, – Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал ее и внутри любви – он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дергавший – в тот, помните, первый день – за тесемки легких полукружий, умел наполнить их, в сущности, только воздухом – ну, и эксы могли приготовить все, что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог... виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, – он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.

Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счетчиках, точно дозируемой и распределяемой действительности; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и эксонов, которыми правили. Казалось, что Рах Ехипіае <sup>6</sup> ничем не может быть нарушен, но тем не менее...

Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включенных. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, – очевидно, неточно иннервированные, – эксоны стали переходить их поперек; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация эксов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, – рождаемость давала довольно низкий балл. Все бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружили какие-то технически не учтенные отклонения и неправильности в работе иннерватора, приводившего в действие «аппарат» Эксинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину, есть один способ: остановить ее».

После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить экс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум перебоев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные – казалось наиболее гуманным принести в жертву именно их.

В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишенным ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и – кто где был – неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо списанных со счета эксонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставались людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо сгнивать; проверка машины не была закончена,

---

<sup>6</sup> Мир эксонов (лат.).

поэтому – в интересах социальной гигиены – всю эту дергающую ресницами человечину... пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.

А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранного на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты.

– Иннерватор в абсолютном порядке – был и есть, – с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. – Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина эксцессов не в эксах, то... ее надо искать в эксонах, в изолированности и безнадзорности их психик. Недавно я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение ее справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты, запертой на ключ, не переступить: ни изнутри – ни извне. Меня, разумеется, совершенно не интересуют все эти душеобразные придатки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия вроде «внутреннего мира» и так далее...

– Но это не интересует и вас, Дяж, – ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: – Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантазмагории – проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действенность; вы входите в факты извне, а не изнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы – смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда...

– Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса он – несколько неожиданно для патрона – вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что... но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»... – в век эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напрочь и начисто, – найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведенного невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включенный в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилён бросить человечеству свою всеспасающую мысль: в мире, где действие и мышление, замысел и овеществление разобщены, – он, видите ли, выключенник.

В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда ее не просят) – даме, которую машина отдает именно тому, кому отдано и ее сердце, но «он», изволите ли видеть, – не знает этого и никогда не сможет узнать. В произведении этом было много зачеркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нем подробнее не берусь.

Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, попадающей и в бытие и в машину *одновременно*: то есть рассказывалась история ребенка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в котором застает его уже включенным в экс; для существа этого не существует мира за пределами экса: экс для него трансцендентален, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится ребенку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, – короче, ход машины, обуславливающий все объективно происхо-

дящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений *в самих в себе*, то есть к крайнему спиритуализму. И все же, шаг за шагом, Шагг выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными совпадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, привносимым извне, из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эксона к мечте об ином умопостигаемом мире, в котором исключения эти превращены в правило и... но не буду кончать, потому что и Шагг не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.

Явившись к своему патрону, Шагг застал его в обществе, – хотя слово «общество» тут вряд ли подойдет, – застал его стоящим перед двумя эксонами, вдвинутыми в сиденья кресел.

– Вы хотели вшагнуть в потустороннее, если я вас правильно понял на последнем собрании. Закройте дверь. Так. А теперь я вам распахну души вот этих двух. Садитесь и наблюдайте.

– Но я не понимаю... – пробормотал Шагг.

– Сейчас поймете. Два часа сорок минут тому назад я ввел им в кровь почти по грамму инита. Тут вот в пузырьке хватит еще на два-три таких же опыта. Инит действует к концу третьего часа. Внимание.

– Но, значит, Нететти... его смерть, – и Шагг почувствовал, что глаза его заблудились меж манекенов, Зеса и крохотного пузырька, поставленного на столе.

– Бросьте о пустяках. Смотрите: один начинает шевелиться. Несколько минут тому я приказал их выключить из экса. Значит, вы понимаете...

И действительно, один из манекенов вдруг странно дернулся, выгнул грудь и сжал кулаки. Глаза его оставались закрытыми. Затем меж губ его проступила, пузырясь, пена, он вдруг раскрыл немигающие глаза и мутно уставился в стоящих перед ним людей. Казалось, мозг его, в течение долгих лет разлученный с мускулами, ошупью отыскивал к ним дорогу – и вдруг произошел контакт: рванувшись с места, эксон с звериным ревом бросился на стоявшего в двух шагах от него Зеса. Мгновение – и они покатались по полу, ударяясь о ножки стола и опрокидывая мебель. Шагг бросился к свившимся в клубок телам и, замахнувшись головкой ключа, зажатого еще в его руке, изо всей силы ударил эксона в висок. Зес, высвободившийся из тисков, поднялся, с трудом ловя воздух разбитыми губами. Первыми его словами было:

– Добейте. И свяжите другого. Немедля.

Когда Шагг стягивал узел на схваченных веревкой руках живого эксона, тот зашевелился, как шевелится человек, просыпающийся после долгого глубокого сна.

– Скрутите ему ноги, – торопил Зес, сплевывая кровь на пол, – с меня достаточно и одной схватки.

Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл наконец глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из синих пустых глаз его текли слезы. Зес, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.

– Я знавал их обоих, Шагг, в их прежней доэксковой жизни. Вот этого, еще живого, я почти любил, и почти как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием – я хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашиненную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое, бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлучения от дей-

ствительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишенных, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в повиновении, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растопчут – и нас, и нашу культуру. Тогда – Эксиини конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, выключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу... одним словом – это кстати, что пузырек с последними граммами инита во время нашей схватки разбился.

Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шел, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; попав в шеренги медленно и методически – два удара в секунду – шагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, – ему даже нравилась та легкая бездушная пустота, какую привносило в него соприкосновение с мертвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеса ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, – так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрестка влево. И Шагг. Затылок по прямому разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок – как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом – под углом отражения – по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алея, свис с борта и нырнул в лузу – вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.

Когда Зесу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свел брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:

– Дальше.

«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точных сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксиинию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и черные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бессменно встукивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире, не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партитура фактосочетаний не вошла в смычки. Прозрачные мачты невидимого городка еще продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн, и пресловутый Рах Ехипае оказывался нарушенным и искаженным.

Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, – находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей – из числа инитов, – работавших на местах, погибли насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, – городок казался изолированным и окруженным: проволокой, безумием, неизвестностью.

Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез при-

гласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», – забормотал тот смущенно, выпрыгивая глазами из строк.

– Мне говорили – вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секреции?

– Тождественно.

– Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.

На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зес резюмировал:

– Итак, *in* восстало на *ex*. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы еще можем свести игру на ничью. Я предлагаю: остановить эксы. Немедля – сразу и все.

При голосовании – все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание эксов, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.

Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точнее, – до беструпия. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не было вполне безлюдно; там уже жили – полуодичавшими кланами и ордами – спасшиеся по дебрям и чащам, изгнанные из культуры, свеянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подалее от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих детенышей, взращенных в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворачивало своими тяжелыми спицами. Но если б человек, скрытый под именем Анонима, чуть не попавший в тот, – помните, первый рассказанный мною день, – под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, все-таки попал бы под него и был расплюснут, вместе с идеей, – то, как знать, может быть, все завращалось бы в другую сторону. Хотя...

Дяж, стащив стекла за стальные усики – с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым футляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.

Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к порогу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросами, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включенный в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и неокликнутый.

В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.

– Боюсь, что запутаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?

– Я слушаю, – бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти – локоть к локтю – вдоль безлюдной панели.

– Среди вас, замыслителей, – как вы себя называете, – мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы... ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов – ни букв. Повторяю – я не хочу быть эксоном!

– У вас верный инстинкт – «эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но все же отвечу. Вините во всем меня, инита. – И, полуобернув ко мне лицо, Рар оглядел меня – сквозь ласковую полуулыбку.

– Вас?

– Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего камина вряд ли бы появилось восьмое кресло.

– Об игле и нити?

– Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие самоизоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьет. Я обвинил и их и себя – в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были *замыслами* – они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтика в данном случае обходятся без света», – аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, – ответил я, – бессолнечный сад может взрастить лишь *этиолированную* поросль», – и рассказал им об опытах взращивания цветов без доступа света: получается – это любопытно – всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными, и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска возвращенного тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действенны ли они и за пределами нашей черной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на обуквлениях: достаточно ли *видимой* окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв. «Темнота, – сказал он, – превращает людей в воров, – это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьем голову – по самое темя – замыслами, сумеет их вынуть из нее и обменять на деньги и славу?» – «Пустяки, – успокоил его Зез, – я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». – «Но почему?» – «Да просто потому, что он *без – рук*: существо, которое у Фихте названо – «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подбирать». Вот. Кажется, все. Простите.

Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуту я стоял в ошеломлении и растерянности. Рар ушел, но слова его еще кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав и не доспросив о главном: черная узкая улица тянулась предо мной, как нить, выскользнувшая из иглы.

## V

Сначала было я решил не посещать более суббот Клуба убийц Букв. Но к концу недели мысль о Раре заставила меня перерешить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Рара, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и искажителей; сначала рукопись, а потом и... мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж черного каре пустых книжных полок, – то с наступлением субботы я решил – в последний раз, говорил я себе, – присутствовать на заседании клуба.

Когда я вошел в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своем привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной исключенности и равнодушия.

После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик. Он повернулся в кресле, затрепавшем под грузом жира и мышц.

– Моя астма, – начал Фэв, с трудом присасывая воздух, – не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную *Историю о трех ртах*.

Экспозиция ее такая: в кабаке «Трех королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имен их мне достаточно трех букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краев, – и приятели под музыку стаканов развлекались – всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препестрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто): и сейчас он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, – и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили попоцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуждался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щеки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдирал зубами мясо.

Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:

– Почему у людей не по три рта?

– Чтобы целоваться сразу с тремя? – захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.

– Погоди, – остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, – не лезь с поцелуями меж слов.

– Я и говорю, – повернулась Нигова подруга к Ингу, – если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы...

– Вздор, – оборвал Инг и учительно поднял палец, – силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо *избирающее*. Не на этом ли и зиждется *liberum arbitrium* <sup>7</sup>, способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчиненных соцелей; а Фома из Аквинь дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исхо-

---

<sup>7</sup> Свободное суждение (лат.).

дящее от привходящего. Рот, os, как сказал бы он, причастен и пище, и целованию, и слову; но в чем его главное свойство? Как ты думаешь, любезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.

Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам.

– Мне кажется, – проговорил Гни, – что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, – на моей тарелке: ясно, рот – чтобы есть. А остальное все так – припутано.

– Мой добрый друг, – закачал головой Инг, – не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?

– Потому, – отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, – что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас – меня в рай, тебя в ад – и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.

– Мне жаль ангелов, – вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, – если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот такую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы умирать. Понял?

Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:

– И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория *другого*, *ио* *етеров*, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни – так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, – и это так; но – слушайте со вниманием – не скажи Господь слов «да будет» – не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголании слов, дарованных свыше.

– А если так, – не унимался Гни, – то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?

Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты – храпом.

В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротовое существо, – беспрерывно шевелившее шестью губами: Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушанья, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:

– Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..

– Как призрак, – закончил Инг, – если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус – наваждение, тень.

– Черт возьми, – ухмыльнулся Ниг, – эта тень отдала мне колени. Расскажи сон.

И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали вперебой о главном назначении рта:

– Чтобы есть.

– Врешь – чтоб целовать.

– Оба врете. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не dospорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюже-

тосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрещиваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак – плыву...

– Да, вы плывете, – Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам – искры прыгнули навстречу удару, – плывете, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, изволите ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, – этак мы скоро...

Жилы Фэва налились кровью:

– Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я... немышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, – а вот...

Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:

– Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.

Все глаза были на мне. И я ответил:

– Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.

– Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди, проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех королей». Городок еще спал, зажмутив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:

– Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?

Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.

– Это камедул, – присвистнул он, – мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.

– Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх – это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.

Вновь зазвякавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей – сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:

– С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.

– У всякого своя забота, – вздохнул Инг.

В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.

Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.

К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым – сквозь пыль и загар – лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, – ваш о. Франсуаз, –

– обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсальтовали друг другу – и Фэв продолжал.

– Отчего у человека один рот, а не три? – спросил, поклонившись клирику, Ниг.

Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:

– А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, – любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.

И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.

– А ведь поп хотел нас одурачить, – зачесал в затылке Гни.

– И чисто сделал дело, – сплюнул с досадой Ниг.

– Дурачить, – ответил Инг, – это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски – как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены? Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.

И трое молча продолжали путь.

Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.

– Клянусь гусем, – рявкнул Гни, – спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.

Ниг только облизал губы. А Инг, покачив головой, сказал:

– Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, – ему дано то, что не дано нам – умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышлениш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кушам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслом, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?

– Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, – отвечала кормилица.

Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.

– О чем ты там? – спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.

– Ах, – отвечал Инг, вздохнув еще раз, – я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.

– Кормилище? – зевнул Ниг.

– Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот такие крохотные пискуны... Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.

Мы оба были тогда юны – и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери – много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вкруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся покрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катутла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, – тот присвистнул и показал мне спину.

Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция... ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услышал стук в дверь, – и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.

– Ну-ну, – заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.

– Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог...

– Дурак, – сказал Ниг и отполз на локте на старое место.

– Я говорил ей о прославленных любовниках древности – о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся неубедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, – и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о... Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Приоткрыв ее, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.

– Дурак, – простонал Ниг и, заткнув уши пальцами, лег ртом в землю, а Гни, дожидая свою травку, спросил:

– И вы не проголодались?

– Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешел к завлекательнейшему «*Ars amanti*»<sup>8</sup> Назона, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за... Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней? Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.

---

<sup>8</sup> «Искусство любви» (лат.).

– Идем, – сказала она няньке, и голос ее дрожал от непонятного мне гнева, – идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.

– Постойте, – закричал я, теряя всякое понимание, – а как вы докажете, что были у меня? Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.

– Скорей, – воскликнула она, – и если мне удастся вернуться к ложу не узнанной никем, даю обет: избрать в мужья самого молчаливого из всех, кто меня захочет.

И они скрылись в мгле предутря, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.

– Ну вот видишь, – зазлорадствовал Ниг, – пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы так печально.

– Она еще не кончилась, – возразил Инг, подымаясь с земли, – конец ее ждет меня вот за этими воротами.

И трое вошли в город.

Ночь пришлось провести без крова. Гостиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты, и ночью их мучили голодные сны.

Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в четки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных камней иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударяя себя в грудь; «*Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*»<sup>9</sup>. Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни – чудесным образом – зазвенели золотые монеты.

Начать пить легко – кончить трудно. Скоро вокруг трех пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение, опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавками сталолюдней, чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похохатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.

Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:

– Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но еще более тревожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?

Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба гарольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочел приговор:

«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав под надзор всех, кто видит и слышит. Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осужденному, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таковом, после чего

---

<sup>9</sup> Моя вина, моя вина, моя тягчайшая вина (*лат.*).

нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».

С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядом, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.

– Что ты скажешь на это? – спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осекся.

Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно понурил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взяли за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза – в них блеснули слезы.

Началась жизнь, мало похожая на жизнь. В городе было достаточно милостивых и сострадательных девушек, которые со вздохом и сочувствием поглядывали на статного Нига: губы его потрескались – от любовной жажды, щеки ввалились и глаза стали мутны; он ходил, стараясь не глядеть на пунцовые бутоны девичьих уст, бормоча проклятия и жалобы. Но болтуну – Ингу – нельзя было даже пожаловаться: язык ему щекотало множеством невысказанных слов, которые приходилось проглатывать вместе со скудной пищей, которую делил он с Нигом. Они совестились есть в присутствии изголодавшегося Гни. Прежде чем разломать пополам сухарь, Ниг и Инг отходили куда-нибудь за дверь или за угол, чтобы не видел Гни. Тому, что ни день, становилось все хуже: от слабости и истощения он уже не мог ходить и двое друзей водили его за собой, держа под локти и помогая переставлять ноги. Вскоре несчастный впал в состояние полусна-полуяви и бредил видениями жирных окороков, шипящих колбас, прошипованных пулярок и всякой снеди, непрерывно вращавшейся на вертелах – перед его духовными глазами с благоуханием и сыком.

Ингу же нельзя было даже бредить: из страха, как бы не заговорить во сне, он почти не смыкал глаз.

Лучше всех держался Ниг. Не поддаваясь отчаянью, он дважды, выждав удобный момент, заводил беседы с часовым, стоявшим у ворот города. После второй беседы, отозвав в сторону Инга, Ниг сказал так:

– Послушай, болтун, ворота города, может быть, и можно открыть, но золотым ключом. Надо торопиться. С Гни плохо: он превратился из спутника в поклажу, но все равно – надо спасать его, да и себя тоже. Вся жизнь ты только болтал, теперь придется поработать, дружище. Я говорю о жене судьи. Кончай роман, иначе мы все погибли. Молчание знак согласия. Вечереет. Я высмотрел: окно судьи в это время всегда открыто. Поблизости никого. Идем, и я докажу тебе – при помощи твоего же рта, чудак, что ты ошибался относительно его назначения.

Инг страдальчески промычал, как глухонемой или человек с вырезанным языком, и покорно поплелся спасать, подбадриваемый пинками друга.

Последние инструкции ему были даны уже под окном, настезь раскрытым в ночь:

– Итак, помни: действуй поцелуем. Еще: если скажешь хоть слово, я сам донесу и тебе миг оттяпают голову. Буду слушать и сторожить тут, под окном: я не старуха нянька и не засну, не надейся. Вот спина: полезай. Ну?..

И пятки обреченного, оторвавшись от земли, сначала уперлись в плечи Ингу, затем, подтянувшись к подоконнику, громко стукнулись об пол. За окном раздался сначала женский вскрик, потом испуганный шепот. Ниг, привстав на цыпочки, с ухом, прижатым к стене, жадно слушал. Женский шепот завозмущался, вспрыгивая на вопрошающие высокие ноты; никто ему не отвечал. Короткое молчание. Потом громкие укоризны с плачем вперемешку. Молчание чуть подлиннее. И вдруг – тихий, заглушенный поцелуй. Ниг одернул шляпу и перекрестился. Поцелуй, что ни миг, становился внятнее и чаще. Ниг зажал уши ладонями и облизывал ссохшиеся губы.

Сначала сверху упал мешок, мягко звякнув о землю. Затем с подоконника свисли пятки Инга, мучительно обшаривающие воздух. Ниг быстро подставил плечи, и через минуту они шли, крадучись вдоль стен, к воротной башне города, где их дожидалась заранее туда доставленная живая кладь – Гни.

И Гни, и мешок с золотыми монетами половину своего веса оставили в стенах города, так что беглецы не слишком пыхтели под своей ношей. Еще до утра им удалось добраться до глухой лесной сторожки, где несколько золотых кружков обеспечили им относительную безопасность и отдых. Ниг тотчас же перемигнулся с краснощекой сторожихой, Гни стали откармливать, набивая его пищей, как матрац сеном, а честно потрудившегося Инга никак нельзя было уговорить перестать говорить и отдохнуть: раздувшийся язык не мог улечься во рту; ведь молчание – самая неисчерпаемая тема для рассказней.

Но чуть трое окрепли, окреп и четвертый – спор. Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу: мнения, что гвозди, – чем сильнее по ним бьют, тем глубже их вгоняют. И после того как каждый из трех ртов был на время разлучен: один – с поцелуями, другой – со словами и третий – с пищей, ни одна из трех голов не хотела больше расставаться со своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку. И так как лесное безлюдье отвечало только эхами, – решили идти дальше.

И пусть идут, но нам, друзья замыслители, пора повернуть вспять. Дело в том, что линия пути с этого места делается для меня как бы пунктирной: череду встреч ведь можно удлинять и укорачивать, сюжет странствующего спора допускает свободное развитие: путь – от исхода к концу – разматывается, как веревка лассо, – важно одно – добросить до ускользающего конца и изловить его в петлю. И конец тут, я думаю, должен быть такой. Разумеется, начерно и примерно.

Ведомые спором, трое идут и идут, пока путь им не пресекло море. Они повернули вдоль берега и вскоре очутились в одном из портов, откуда и куда уплывают и всплывают корабли. Но море под штилем, ни зыби, паруса обвисли, – и расстранствовавшемуся спору приходится дожидаться ветра.

Мешок, подаренный Ингу, еще позвякивает десятком монет. Зашли в харчевню. Когда вино развязало языки, Инг, обратившись к матросам, дюжим, просоленным морем парням, собутельничавшим с ними, спросил:

– Как по-вашему, в чем смысл рта? – и предложил им выбрать один из трех ответов.

Парни чесали в затылках и конфузливо переглядывались.

– А разве все три этих, как их... смысла в один рот не влезут? – ответил наконец один из матросов, опасливо оглядываясь на пришельцев.

Тогда Инг, снисходительно улыбнувшись, стал растолковывать:

– Смысл смыслу рознь. Причины – учит Дуно Скотус – бывают полные, или исчерпывающие, и неполные... ну, для простоты, скажем, пустые. Вот три бутылки: две пустых и одна полная. Видишь?

– Вижу, – отвечал парень, собрав лоб в складки.

– Ну вот. Поставь их перед зрячим и скажи ему: выбирай. Ясно, зрячий протянет руку к той, что с вином. Так?

– Так, – как эхо повторил парень, и лоб его покрылся испариной.

– Ну а теперь закрой глаза.

Парень захлопнул веки, а Инг быстро и неслышно переставил бутылки:

– Бери одну. Живо.

Парень протянул руку и ухватился за горлышко порожней. Грохнул смех. И Инг, глядя в виновато мигающие глаза моряка, закончил:

– Так и со смыслом. Люди слепы: оттого и смыслы их пусты. И редко кто пьет не из пустой бутылки.

Наступило почтительное молчание, пока старший из среды моряков, сокрушенно вздохнув, не сказал:

– Мы люди простые и не учены: где нам отвечать на этикие вопросы. Но ветры дуют во все концы мира. Кончится штиль, и я повезу груз соленой рыбы: на том берегу мне обменяют ее на изюм и фисташки. Едем со мной: может быть, там, за морем, и вам обменяют ваши вопросы на ответы.

Тем временем заря протерла черные окна светом, и трое, расплатившись, вышли на улицу. Невдалеке от порога харчевни, прижавшись тощей спиной к стене, сидела женщина: ее щеки были раскрашены под цвет зари, но никто не взял ее на эту ночь – и только утренний холод, не заплатив ни гроша, шарил ледяными пальцами, пробираясь все глубже и глубже под пестрые тряпки потаскухи.

– Бедняжка дрожит, – прищурился Ниг, – но пока что не от страсти. Чего она ждет?

– Твоих поцелуев, Ниг, – толкнул его локтем Инг, – язва на ее губах соскучилась по тебе.

– Ну, нет. Лучше ты скажи ей несколько слов в утешение.

Инг сострадательно наклонился к женщине:

– Дочь моя, не сгнив на земле, не процветешь на небесах.

Но Гни не дал ему продолжать. Пнув его ногой, он придвинулся к изыбшему существу и, порывшись в карманах, ни слова не говоря, вытащил ломоть хлеба и сунул ей в рот. Худые руки женщины тотчас же ухватились за край краюхи, проталкивая ее навстречу быстро зажевавшим зубам.

– Скажи, крошка, – улыбнулся Гни, с умилением следя за работой ее челюстей, – ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь нее высыпать слова или заклеивать дурацкими поцелуями, а для того, чтобы человек – при посредстве ее – познал радость пищеприятия.

Хлебный ломоть долго не давал женщине ответить. Наконец трое услышали:

– Не знаю, право: в нашем ремесле – кто не целует, тот не ест. И не меня вам надо спрашивать, а идите вы вдоль берега вот по этой тропе, приведет она вас к пещере. Пещера не пуста: живет в ней мудрец – отшельник: он все знает – оттого все и бросил.

– Отшельников мы еще не пробовали. Пойдем, что ли, – и странствующий спор продолжал свой путь по извивам тропы.

А к закату дня опередивший спутников Гни сунул голову в тьму пещеры и спросил:

– Что пристало рту лучше: поцелуй, слово или еда?

На что из тьмы послышалось:

– Откуда роса – с земли или с неба?

– Говорят, с неба.

Подошли Инг и Ниг.

– С неба, – подтвердили они.

Недоумевая, Гни снова сунулся головой в тьму, и тотчас же что-то тяжелое ударило его в лоб, сшибло с ног и, выкатившись наружу, легло у входа в пещеру: это был обыкновенный чугунный горшок. Друзья осмотрели его и снаружи и изнутри, но ответа в горшке не нашли.

– Спрашивайте теперь вы, – сказал Гни, держась за расшибленный лоб, – с меня довольно.

Отошли в сторону от входа в пещеру и решили заночевать, с тем чтобы утром продолжать путь. Горшок как упал на траву, донцем кверху, так и остался лежать.

Первым проснулся Гни – разбудила шишка, вздувшаяся на лбу. В рассветном блеске он увидел сидевшего рядом с ним незнакомца. Незнакомец, приветливо улыбнувшись, спросил:

– К отшельнику?

– Д-да. И вы тоже?

Незнакомец не отвечал и, пряча улыбку в седую клочкастую бороду, разглядывал распестренные зарей росины, сверкавшие с зеленых острий травы.

– Если и вы к отшельнику, то лучше не ходите.

– Почему?

– Потому что вместо ответа получите вот это. Точнее: этим, – и Гни с досадой пнул чугунный горшок; горшок откатился в сторону, и на травинах, спрятавшихся под его донцем, Гни с изумлением увидел дрожащие в переливах огней крупные живые росины.

– Черт возьми, – воскликнул Гни, – как они пробрались с неба под крышку горшка?!

– Чтоб объяснить то, – заговорил незнакомец, – что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо – ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове – незачем странствовать по свету: ответ тут же, под теменем, рядом с вопросом. Загадка всегда делается из разгадки, и ответы – так было и будет – всегда старше вопросов. Не буди спутников, пусть отоспят: вам предстоит долгий и трудный возврат.

И, прихватив с собою горшок, старик скрылся в тьме пещеры.

В тот же день трое направились в обратный путь.

Добрая традиция сюжетосложения требует, чтобы *туда* рассказывалось на долгих, а *назад* – на перекладных. Итак, предположим, что мои трое, стоптав дюжину подметок, подходят к исходу: их встречает родной городок; церковный служка, пробиравшийся, подоткнув рясу, меж луж, чинно раскланивается с Ингом; девушка со вспучившимся животом, завидев Нига, роняет ведра в грязь, завсегдатаи «Трех королей», высунувшись в окно, кричат и машут Гни, – но трое, не выпуская из рук посохов, – мимо и дальше; впереди Ниг: он ведет их к Игноте.

Пришли. Во дворе пусто: лишь колесная колея, насвежо вдавленная в грязь, да ветки хвои, от ворот к порогу. Стучат: никого. Ниг толкает, дверь – отскочила; входят в сени. «Здесь», – но и дверь в каморку Игноты настезь; на лежанке мягая солома; в воздухе ладан, и никого. Ниг снял шляпу. Двое других за ним. И, выйдя молча, путники – вслед за зелеными иглами хвои – к ограде кладбища. И меж крестов никого. Только издалека чавкающая о землю лопата. На звук. Провожавших, если и были, уже – нет. Замешкался только могильщик: земля была тугая и противилась лопате.

– Здесь Игнота? – спросил Ниг.

– Здесь. Только если вам от нее что-нибудь нужно, приходите попозднее, когда кончится вечность.

– Нам ничего от нее не нужно, кроме ответа на один вопрос.

– Наше дело – закапывать трупы, а не откапывать вопросы. А трупы, как вам известно, неразговорчивы: о чем ни спроси, и рта не раскроют. Хотя вру, – ухмыльнулся могильщик и хитро подмигнул, – ракрывать-то они его раскрывают, будто слово какое хотят последнее, только сказать его им не дают – сначала тесьмой зубы к зубам, потом забьют рот землей, и какое это слово, слово мертвых, так никто никогда и не слышал. А любопытно бы.

– Неуч, – процедил Инг.

– Почему нет креста? – осведомился Гни.

– Таким не ставят, – пробурчал могильщик и снова взялся за заступ.

Тогда трое, скрестив посохи, увязали их в крест; когда он раскинул свои прямые деревянные руки над Игнотой, Инг сказал:

– Да, страна вопросов все ширится и множит свои богатства, страна вопросов – цветет все пестрее, все ярче и изобильнее, но страна ответов пустынна, нища и уныла, как вот это кладбище. Поэтому...

– Выпьем. Аминь, – подсказал Гни. Все трое закончили историю там, где ее и начали: в «Трех королях». Уф, все.

Фэв сидел, неровно и хрипло дыша. Глаза нырнули назад, в жир. Председатель не сразу нарушил молчание:

– Что ж, и для вашей истории найдется место в нашей несуществующей библиотеке, – он окунул пальцы в черную пустоту полок, как бы выбирая место, куда поставить ненаписанную книгу, – тема ваша – это, по-моему, какой-то веселый катафалк; быстро кружа спицами среди весело мигающих факелов, он пляшет на ухабах, раскачивая пестрыми кистями и погребальной мишурой, и все-таки это катафалк, и путь его к кладбищу. Можете считать меня брызгой, но вы все, уважаемые замыслители, норовите свалить сюжетные концы в одну и ту же могильную яму. Так не годится. Искусство литературного эндшпиля требует более тонких и многообразных разработок. Упасть в яму – легко, выбраться из нее, – если она притом глубока, – труднее. Ведь не затем же мы отшвырнули перья, чтобы взять в руки лопаты могильщиков.

– Может быть, вы и правы, – качнул головой Фэв, – мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на черную, чем с черной на белую. Тематические разрешения у нас неблагополучны, потому что... неблагополучны. Но если уж на то пошло, я берусь показать, что умею плыть и против ветра. Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно; а затем прошу наблюдать, как она будет оттуда выкарабкиваться – вверх – в жизнь.

– Ну-ну, послушаем, – улыбнулся Зез, пододвигаясь с креслом к рассказчику, – держайте.

Фэв поднял лицо вверх, как бы усиливаясь что-то вспомнить, фиолетовые блики прыгнули с потолка на вспучившиеся пузыри его щек.

– Замысел этот закопошился во мне много лет тому. Я тогда был и подвижнее, и любопытнее, ощущал еще тягу пространства и часто путешествовал. Произошло это так: в один из моих приездов в Венецию, идя по предполуденным раскаленным калле и виколетто, я свернул – по нужде – к одному из тех мраморных приспособлений, которые торчат там чуть не из каждой стены и пахнут аммиаком. Вокруг стока, облепив стену пестрыми квадратиками, лезли в глаза адреса венерологов. А чуть в стороне, отгородившись узкой черной рамкой, как-то отдергиваясь всеми своими чинными черными по белому буквами от аммиачной компании, квадратилось четкое, под черным крестиком, авизо:

«Вы не забыли помолиться о тех 100 000, которым предстоит умереть *сегодня*?»

Конечно, это был – так, пустяк, сухая статистическая справка, ловко изловленная черным квадратиком, вежливо напоминавшим – всего лишь *напоминавшим*.

Я не стал молиться о ста тысячах душ, уводимых в смерть, но когда я вышел из тени стены на яркое солнце, тысячи и тысячи агоний заслонили мне день: тысячи погибающих сегодня обступили меня, тысячи солнц ссыпались в тьму: я видел множество восковеющих, проостренных лиц, выкаты белых глаз; сладковатая тлень, вгниваясь сквозь ноздри в мозг, не давала ни думать, ни жить. Помню, это пронизало меня почти физически. Я присел к одному из ресторанных столиков – мне придвинули прибор, и в ту же секунду я увидел тысячи их – на столах, с западающими ртами, медленно холодеющих, беспомощных и пугающих, выключенных *из сегодня в никогда*. Я не стал есть медленно остывающего минестроне, и мысль моя делала лихорадочные усилия, лишь бы вышагнуть из проклятого черного квадрата. Тогда-то и пришла мне на помощь *моя тема*. Она вхлынула в меня как-то сразу. Схваченный ею, помню, я механически поднялся и, быстро расплатившись с...

Тут рассказчик – вслед за ним и другие – повернул голову на звук резко отодвигаемого кресла. Неожиданно для себя я увидел Рара, вышагнувшего из круга замыслителей; в руке у него был ключ, который за секунду до того лежал на выступе камина.

– Ухожу, – коротко бросил он.

Ключ металлически шелкнул, дверь рванулась с порога, и шаги Рара оборвались за глухо хлопнувшей где-то внизу створой.

Все с недоумением переглянулись.

– Что с ним? – приподнялся Шог, как если б хотел догнать ушедшего.

– К порядку, – раздался сухой голос Зеза, – сядьте. Или, если уж встали, прикройте дверь.

Мимо. Фэв продолжает.

– Нет, Фэв кончил, – отрезал тот, гневно пузыря щеки.

– Потому что ушел этот? – запнулся Зез.

– Нет. Потому *что с этим* ушла – вы только представьте себе – *и та*: тема.

– Вам хочется, очевидно, перечудачить Рара. Пусть. Будем считать заседание закрытым.

Но давайте условимся о программе следующей субботы. Очередь Шога. Предлагаю ему прыгать с трамплина, поставленного Фэвом. Пусть он – вы слышите, Шог, – увидит себя у стены, перед бумажной наклейкой в черной кайме, пусть перемыслит – вслед Фэву – мириад агоний в одном «сегодня», и затем желаю ему допрыгнуть: с черного на белое.

Шог откинул упрямую прядь со лба:

– Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину – как вы это называете – я возьму сквозь отсказанную, первую тему сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя срока. Авось допрыгну.

## VI

С каждым днем, придвигавшим меня к следующей субботе, я все крепче запутывался в собственных своих догадках и домыслах. Как было понять «ухожу» Рара? Была ли это простая демонстрация, направленная против Фэва, или протест, быющий гораздо сильнее и дальше: может быть, это было твердое решение, а может быть, и минутный каприз: от чего он отстранялся – от ста тысяч или от шести? Вспоминалось бледное, в себя глядящее лицо, неровный, удаляющийся шаг. Может быть, ему нужна моя помощь? И я уже не думал – идти или не идти. К тому же притяжение суббот, втягивающая сила пустых полок, черный соблазн бескнижия, очевидно, начинали действовать и на меня.

Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу убийц Букв. Над затоптанным снегом мглось уже первое предвесеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно стуча слезами с панелей. Когда дверьпустила меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Рара. Пришли все: кроме него.

Как всегда – раз и еще раз щелкнул ключ, как бы отделяя комнату черных полок от мира, – и я почувствовал короткий и теплый толчок в мозг.

Шог, которому предстояло говорить, тоже несколько раз кряду, с выражением беспокойства, оглядывал *место*, не дождавшееся человека. Председатель подал знак – тогда, повернувшись лицом к темной яме камина (близящаяся весна потушила его), он сделал усилие сосредоточиться и начал:

– Марка Лициния Септа нашли у порога полутемного таблинума: он лежал мертвый меж развернутых свитков.

Рабы покойного Септа, Манлий и старый хромой Эзидий, перенесли тело на каменную скамью таблинума, наскоро одели в лучшую тогу с тонкой красной каймой, омыли лицо и рот, облипшие кровавой пеной, разжали стиснутые смертным спазмом зубы и, вложив в них медный обол, занялись похоронными хлопотами.

Две старых плакальщицы, нюхом учуяв покойника, уже стучали бронзовым молотком у дверей заднего двора; там у шепеляво брызжущего фонтана Эзидий спорил с пискливыми старушечьими голосами, стараясь выторговать хоть десяток-другой сестерций: покойный Марк Септ был беден – приходилось экономить.

Манлий побежал заказывать похоронную лектику, купить благовоний, условиться с факельщиками и оповестить двух-трех друзей покойного. Марк Септ жил бедно и одиноко среди папирусов и воощенных дощечек, чуждаясь близости с людьми. Манлий думал управиться до захода солнца.

Но труп нельзя оставлять без призора: этим могут воспользоваться злые ларвы и бродячие тени.

– Фаба, эй, Фаба, где ты?.. Опять на улице, шалунья. Поди сюда. Вот скамеечка: сядь у ног господина. Не бойся, что он белый и не шевелится, – господин умер. Ну, тебе еще не понять: сиди здесь смирно, пока Эзидий не кончит со старухами. А там подоспею и я.

У маленькой шестилетней Фабы было свое важное дело, и не прикажи ей так строго отец, она ни за что не осталась бы в полутемной комнате: за домом, у перекрестка, расположился, со своим лотком, продавец засахаренных фиников, изюма и фиг: смотреть и то приятно. А здесь...

Фаба села на скамеечку, поджав ноги, и стала прислушиваться: в таблинуме было тихо; синяя большая муха прогудела и затихла; но и сквозь стены доносился голос продавца: «Финики, финики – по оболу вязка. Купите сладких фиников – по оболу – только по оболу...»

– О если б, – забилося маленькое сердце, и Фаба облизнула пунцовые губки.

Марк Лициний Септ лежал, зажав обол меж каменеющих губ, и *тоже* слушал: пройдя отоненным смертью слышаньем сквозь голоса плакальщиц, выкрики продавца; дальше – сквозь шумы и клики улицы; дальше – сквозь говоры земного круга – он ясно различал и дальний плеск Харонова весла, и печальное шептание теней, зовущих и его туда, к черным водам Ахерона. Мертвому Септу звучали – и шаг звезд, идущих по дальним орбитам, и шорохи букв, копошащихся в свитках папируса, не убранного с пола, были внятны и думы Аида, и мысли маленькой Фабы, дочери раба, сидящей вот тут, у его изголовья. В остеклевающих зрачках – сквозь муть – просинели сиявшие из дрожи ресниц глаза дитяти: жизнь. И тотчас же зрачки стало медленно втягивать мглой.

Весло Харона плеснуло ближе.

– Сладкие финики, сушеные финики – по оболу, только по оболу.

– О, владычица Юно, если бы мне... – прошептала Фаба.

И страшным последним усилием каменеющих мускулов Лициний Септ разжал зубы (от усилия пелена вокруг глаз сгустилась – застав Фабию, стены и весь круг земли), и медный новенький обол, скользнув из губ, покатился по полу и с легким звоном лег у ног изумленной Фабы. Она поджала ножки к самой доске скамьи и часто дышала. Все было тихо. Неподвижный господин ласково улыбался ей прозрачно-белым лицом. Фаба протянула руку к оболу.

Финики были очень вкусны. А Марка Лициния Септа похоронили *так*, без оболы: недоглядели.

Сроки Септу исполнились. Вознесенный над землею, скользил он среди жалобно шепчущих теней к обиталищу мертвых. Позади пронзительные визги и ритмические выкрики сторговавшихся-таки плакальщиц, впереди плескание черных волн Ахерона.

Вот и срыв берега. Звук весел – чу. Ближе. Еще. Ладья отерлась бортом о берег. Шаткие тени слетались на шум: с ними и Септ. Старец Харон уперся ступнею в берег. В блесках кровавых зарниц выступало и никло его лицо: выдвинутая вперед нижняя челюсть, обросшая спутанной седой бородой, хищный блеск глаз. Трясущейся костистою рукою Харон быстро, привычным движением ощупывал рты мертвецов – и оболочки, один за другим, звенящею струей, падали в кожаную суму, прикрепленную к набедрию старца. Пальцы его коснулись и губ Септа.

– Обол, – спросил перевозчик, – где твой обол за переправу?

Септ молчал. Тогда Харон оттолкнулся веслом; ладья, наполненная теньями, отчалила. Септ остался один у опустевшего берега Смерти.

На земле: день – ночь – день – ночь – день. А у черных вод Ахерона: ночь – ночь – ночь. Без брезга, без полдня, без сумерек. Тысячи раз причалила, тысячи раз отчалила ладья перевозчика, а Марк Септ все оставался один – меж жизнью и смертью. Всякий раз, заслышав плеск ладьи, приближался он к шуму вод, и всякий раз скряга Харон отстранял его, не принесшего оболы, от борта. Так бродил Септ, не принесший оболы, у черных вод: покинувший жизнь и не принятый в смерть.

Просил он у слетавшихся теней об оболе: но те, стиснув крепче в замерших губах плату Земли Аиду, пролетали мимо. Тьма смыкалась за ними. Понял Септ – мольбы напрасны: и, обернувши лицо к земле, стал он ждать, годы и годы, когда придет к Ахерону та, которой он отдал свой обол мертвых.

Финики были сладки, это так – но жизнь горька и безрадостна. Девочку Фабию, дочь раба, после внезапной смерти господина четырежды перепродавали. Когда Фабия стала красивой синеокой девушкой, зацеловали губы ее и заласкали тело. Так переходила она из рук в лапы, из лап в щупальца. Печаль вошла в синие глаза рабыни и не уходила из неперепроданной души ее. Время катилось от года к году, как стертый обол, оброненный наземь. Последний хозяин тела, старый проконсул Кай Ригидий Приск, был щедр к своей наложнице: Фабия спала на мраморном ложе среди курений и веющих опахал, но странный неотступный сон трижды посетил ее: снились плески черной реки; чье-то знакомое, милое-милое, лицо с окаменевшим,

мучительно разжатым ртом; чей-то печальный, из далей зовущий шепот: обол – отдай мне обол – мой обол мертвых.

Целые горсти их раздала Фабия нищим и в храмы: но видение не изникало.

Проконсул Ригидий умер. Фабии предстояло перейти к его наследнику, по инвентарному списку. Когда слуги наследника пришли к ее порогу, никто не откликнулся за пурпуровой завесой. Вошли внутрь: Фабия лежала на мраморном ложе, неподвижно раскинув руки: как для объятий. Вещь, занумерованную в инвентарном списке номером пятым, пришлось, с соблюдением соответствующих формальностей, вычеркнуть: кладбище самоубийц приняло новый труп.

Марк Септ узнал близящуюся тень: она скользила в веренице мертвых, с запрокинутой назад головой, с прозрачно-белыми руками, раскрытыми будто для объятий; меж бледных губ мерцало полукружие оболы. Подплыла ладья. Септ преградил путь Фабии.

– Ты узнала?

– Да.

– Здесь меж смерти и жизни – годы и годы – жду. Отдай обол, отдай мне обол мертвых! Тогда...

И рассказ вдруг остановился, как если бы и ему преградили путь.

– И тогда, – повторил Шог, медленно обводя глазами круг своих слушателей, – как бы с этим «тогда» поступили ну хотя бы вы, Хиц?

Спрошенный удивлялся не более секунды; быстро выставившись навстречу вопросу остриями подбородка и локтей, он стал притискивать слово к слову:

– К вашему «тогда» незачем приискивать «когда». Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в котором легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь как знаете. Я к Ахеронам не ходок.

– Ну, а вы, Дяж? – продолжал Шог, и нельзя было разобрать, шутит ли он или спрашивает всерьез.

Круглые стекла мотнулись из стороны в сторону:

– Любезный Шагг, то есть, виноват, Шог, с вашими тенями я бы распорядился так: один обол на двоих. Все же больше, чем ничего. Получив его, Харон пускает в ладью и Фабию, и Септа. Но, доплыв до середины Ахерона, меж двух берегов, смерти и жизни, божественный скряга говорит им: «Вы уплатили мне за полупуть». И герои ваши, над которыми уже занесено грозное весло адского перевозчика, принуждены высадиться посреди реки: прямо к знаменитым, воспетым Эврипидом и Аристофаном, божественно квакающим ахеронским лягушкам. Туда и дорога.

Шог, поблагодарив кивком головы, повернулся к следующему:

– Фэв?

– Тому, в чьих легких расселась одна из этих ахеронских жаб, – дно реки, обтекающей смерть, не всегда внушает смех. Скажу одно: от вашего рассказа у меня медный привкус на губах. Спрашивайте следующего.

Но следующий, Тюд, не стал дожидаться своего имени. Придвинувшись к Шогу – колени к коленям, – он быстро заговорил:

– Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «и тогда...» – постойте – и тогда Фабия приблизила к Септу обол, сверкавший меж ее губ. Септ потянулся к нему изжаждавшимся ртом. Сначала слились губы, потом – души. А оброненный обол, скользнув вниз, канул в черные воды межмирья. Ладья отчалила без них. Двое остались меж смерти и жизни, потому что любовь это и есть... понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.

– Я скажу, – глухо отозвался тот, – что вместо придумывания концов лучше передумать заново *начало*: я бы строил его совсем по-иному...

- Почему?
- Не знаю. Может быть, потому, что я человек... человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.

## VII

Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени вдвигалось пустое, молчаливое кресло Рара. Как бы поступил *он* с оболем мертвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось. Возможность случайности устранялась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой был таков: посетить еще одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Рара и осторожно вывести его настоящее имя, а если можно, и адрес.

Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник: из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жесть подоконника размеренно, по-псаломщицки, бормотали капли.

Шесть раз переменял мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.

Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шел медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел человека, быстро сбежавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюдэ, – я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:

– Собрания не будет. Вы знаете о Раре?

– Нет.

– Как же. Дуло меж зубов и... Завтра под лопату.

Я стоял ошеломленный, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:

– Ничего. Придется прервать собрания: на неделю-другую – не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случилось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.

Дверь захлопнулась.

Я хотел позвонить еще раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в черную ночь за окном, – тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.

Я их не ждал: они пришли сами – одна вслед другой – пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщелкнул крышку. Субботы закивали головами, так-так, – губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались вперебой под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота черных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.

Вот уже четвертая ночь на исходе. На исходе и слова. Мое писательство, начавшееся – так неожиданно для меня, – еле родившись, и умрет. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда – словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.

Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, – и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьет их.

Ну, вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов – навсегда. Экстазы четырех ночей  
взяли из меня все: до предела. И все же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне  
разорвать орбиту и вышагнуть за я!

Вот – отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.

# Возвращение Мюнхгаузена

## Глава 1

### У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

– Восстание в Кронштадте!

– Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт! – ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

– Как доложить?

– Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

– Как?

– Эрнст Ундинг.

– Минуту.

Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

– Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйста.

– А, Ундинг.

– Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

– Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом – подошвами в каменную решетку – пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом – в готические спинки кресел – длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наевившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

– На столике сигары, – сказал наконец хозяин.

Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета: стукнула крышка сигарного ящика – потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

– Мы, немцы, не научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите?..

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись – и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая

в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз – бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

– Еще меньше мы смыслим в туманах, – продолжал курильщик меж затяжками, – начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белевые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и мирозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

– Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились, например, эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

– Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад – мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше. «Доктор, – сказал я философу, – с тех пор, как не-я выпрыгнуло из я, ему следует почаще оглядываться на свое *откуда*». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

– Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», – а само отворачивается от всяческих не. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, – поклонился он в сторону собеседника, – но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я – глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка – по вашему кивку – кельнер на место невыпитой кружки приносил другую, остававшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, – отвечали вы, – и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня – напоминаю вам это, Мюнхгаузен, – как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...

– Вы злопамятны.

– Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение Земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад, в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» – вы – с учтивым поклоном – назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место, – вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, – между нами – как поэт, я готов верить, что вы – *вы*, но как здравомыслящий человек...

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

– Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду, через час.

И трубка легла на железные вилки.

– Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не *перестанут*. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

– Вы шутите.

– Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

– Что ж, – усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, – если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное *как*. Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

– Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете... только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этакий гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы – с деления на деление – над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 – и еще, и еще, – у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789 крепче стискиваю колени, на 1871 приходится и руками и ногами за края стрелы, но с 1914 тряска цифр делается невыносимой: ударившись о 1917 и 1918, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу – сначала неясные, потом вычелчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры: воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг – удар о ладони, сжимаю пальцы – в руках у меня шпиль – представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой – в двух-трех футах – флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону – и я могу спокойно оглядеть распластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй – все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма: и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и плавно опускаюсь, – я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина – такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели отлеть). Я огляделся: никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным сту-

ком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной – шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола.

– Ну вот, – повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обреze с кожаными наугольниками ин-октаво. – Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783 года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрочки Ундинга, вспрыгнув на титулблатт, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла:

– Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, – продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, – я поспешил спрятаться: открыв свою книгу – вот так, – я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и выпрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплюснвшись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

– Должен вас перебить, – привскочил с кресла Ундинг, – как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а...

– А во-вторых, – ударил ладонью по сафьяну барон, – я не терплю, когда меня перебивают... И, в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда *соизмеримы*, но никогда не *соразмерны* действительности!

– Допустим, – пробормотал Ундинг.

И рассказ продолжался:

– Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня враспloch (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз выронил сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям. «Историки запишут, – сказал я, ободряюще кивнув, – что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и молча протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка – готическим шрифтом по плотному картону:

*барон*

*ИЕРОНИМУС фон МЮНХГАУЗЕН*

*Поставка фантазмов и сенсаций.*

*Мировым масштабом не стесняюсь.*

*Фирма существует с 1720.*

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился:

– Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысль – из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем...» – и я раскрыл свое ин-октаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут – между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой – не угодно ли взглянуть, – опустело: думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек длинная рамка: но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа – иллюстрация исчезла.

– Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем... Впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В дверях просунулись баки лакея.

– Подайте одеться.

Баки – в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

– Да, – протянул Мюнхгаузен, – они сняли у меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлеть, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

– Вы перефантазировали самого себя. Отдаю должное – как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплissировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

– Да-да. Еще в те времена, когда я жывал в России, они сложили про меня пословицу: у всякого барона своя фантазия. «Всякого» это позднее присказалось, – имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, лыщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов *использовал право на фантазию*. Благодарю вас, и тоже, как поэт поэта.

Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундинга:

– И как хотите, друг: можете верить или не верить Мюнхгаузену и... в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще – крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все: ведь если просверлить бочку – вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули: протоколы Лиги Наций – подлинные документы о Брестском мире – стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо ожидавшемуся – на ручке кресла – томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

## Глава II

### Дым делает шум

Сначала под ногами у Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мглистые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прямой бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись – нитью фиолетовых бус – отражения фонарных огней: с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались, обмокшие в дожде, флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз чугунные скамьи Унтер-ден-Линден – и навстречу, – утаптывающая бронзовыми копытами воздух, – черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузырями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рухнет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города – там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

– Фантазмагория, – пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы: проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантазмагория. Но ни хен, ни лейн не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы, внешний мир для него стал короче полей его фетра, – и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу: роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилось: к коленям тяжелыми гириями – усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме: два раза по двести – итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем с экспрессом – по делам, не подлежащим оглашению, – в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. в влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, исключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, – из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал – сначала конец выкрика, потом начало, потом все:

– Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе!!!

– Мюнхгаузен о...

Полохнуло ветром. Выздоровливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

– Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

«Лошади и избиратели, – говаривал барон в узком дружеском кругу, – если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником теннисровой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным: через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там – луна или фонарь?»

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа – за длинным извивом ограды, молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой – на его деревьях клочьями ваты снег, летом – под его деревьями закапанный чернильными пятнами теней шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженной травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

– Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесами назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждали слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в сутки, – притом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе мэрвайс и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остроносые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую ее часть барон совершал пешком: он пересекал зеленолиственный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастика, которым старые – недопревратившиеся в миссис – мисс читают сказки из большебуквых с раскрашенными картинками книг. Слева выгибалась серые чешуи Змеиная река. Справа – навстречу шагам – сквозь паутину ветвей – памятник несуществовавшему Питеру Пэну, у западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк – неизменное:

– К самому несуществующему.

Джонни – «слушаю». И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще четыре колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло

и камень Пикадилли. А там, по странду – и справа затканые в туман над ребрами кровель – башни Тампля и круглый купол св. Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу: приехали.

Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую Галерею Шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова; но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям балдахина и буквам, врезынным в камень. Но Мюнхгаузен интересуется другое. Подозвав служку, он протягивает палец к аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия:

– Что это?

– Правдивое изображение Истины и Лжи, сэр.

– А которая из них Истина? – прищуривается барон.

– С вашего разрешения, вот эта.

– В прошлый раз, помнится, вы называли ее Ложью, – подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на Истину и не на Ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоты богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит:

– Когда к Богу ни приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим.

Произносится адрес – и Джонни поворачивает руль или вправо – к Патерностер-стрит, или влево – к суеде Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле; отсюда уже двадцативерстные радиусы Лондона – то тот, то этот – протягиваются под шуршащие шины лимузина.

Отдав два-три визита, барон кивает шоферу: домой. Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные дома похожи на прессованный туман, но человек, откинувшийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только одно в мире не рассеять и не свеять ветрами: нищету.

В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы:

– Мое мнение о парламентаризме? Извольте: как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков у всех ораторов Англии: из расчета по три оппонента на одного докладчика, беря Нижнюю и Верхнюю Палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265-го по 1920-й, просчитав фракции, комиссии и подкомиссии и переведя все в пудо-футы и лошадиные силы, получим – вы только представьте себе – силовой разряд, достаточный для возведения двух хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда.

– Моя тактика борьбы? В социальном плане? Чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да: у них на озере Виктория есть водопад; когда подъезжаешь – уже за много километров слышен шум; приблизившись – видишь гигантское облако водяной пыли – от неба до земли. Дикари называли это – Мози-са-Тунья, что значит: *дым делает шум*. Вот.

– Вы там бывали, сэр? – интересуется репортер.

– Я бывал в небывалом: это значительно дальше. И вообще я полагаю – вы записываете? – реальны лишь две силы: шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились... Впрочем, давайте на этом кончим.

Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются.

После этого слуга докладывает: обед подан. Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет

и усаживается в мягкое кресло; пока слуга хлопчет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно щуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть: час послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту: сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно: сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вокруг них прозрачными сатурновыми кольцами – одно кружит вправо, другое влево – медлительные дымные извития:

– Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко, но он все-таки плачет.

– Раньше, чем устрица успеет составить мнение о запахе лимона, ее уже съели.

Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя, но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу, – и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет:

– Благодарю. Завтра – как обычно.

Он пробует приподняться, но дремота отяжелила ему тело, затуманила мысли, – и явь, вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.

А под смеженными веками череда видений: снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам; они странно безлюдны и немые, и, ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады св. Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение: голова его под гигантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы, прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля – назад; но чудовище, шагая двенадцатью гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, – вслед. Коробка скоростей, проскрежетавав, швыряет стрелку на максимум. Но чудовище, проворно перебирая колончатymi лапами, все ближе и ближе. Машина – на полном ходу – сворачивает в одну из узких улиц Ист-Энда. Собор пробует протиснуться вслед, проталкиваясь прямоугольным каменным плечом в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй, вы, чего устались, не пускайте его!» И дома по первому же оклику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь; со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни: «Что вы наделали, – мы гибнем». И действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего Ист-Энда, лишённые промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну лишь цифрами номеров членимую массу: и как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же – и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нем; оси машины – нет-нет – чиркают о стены, скорей, – впереди просвет площади; но поздно – гигантская плющильня зажала бессильно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов, ее стальные крылья и кузов хрустят, как элитры насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло – он в пролете меж двух окон – улица уперлась кирпичами в кирпичи, – короткий крик, затерявшийся в удары громад о громады, – все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы, мистер». Мюнхгаузен оборачивается – он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты; посередине – кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с большим румянцем на скулах и двое мальчуганов; свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить – стекло подоро-

жало, – продолжает мужчина, размешивая содержимое миски. – Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет».

Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться: «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет и вообще ничего нет». Мужчина, к удивлению барона, не удивлен: «Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. И тому, кому некуда идти, мистер, – зачем ему улица. Кушайте, дети, стынет».

Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятится к двери, опрокинув любезно подставленный стул, и по ступенькам: квадрат двора меж четырех стен. «А вдруг и эти тоже?» Скорее под низкие ворота: опять квадрат меж четырех нависших стен; ворота ниже и уже – и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. «Проклятая шахматница», – шепчет испуганный Мюнхгаузен и тотчас же видит: посреди квадрата – на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига не медля, Мюнхгаузен впрыгивает коню на его крутую шею; конь прынул деревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнхгаузен чувствует: шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает вперед, еще вперед и вбок, опять вперед, вперед и вбок; земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпильями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня; но пятка – Мюнхгаузен это хорошо помнит – подклеена мягким сукном, бешеная скачка продолжается: мелькают – сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов – еще и еще – вперед, вперед, вбок и вперед; круглая пятка бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает, прыжки коня короче и медленнее – под ними ровное снежное поле; от его сугробов веет холодом; конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди ледящей равнины – подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать: «К g-8 – f-6; f-6 – d5, черт, d5 – b6», – кричит он, припоминая зигзаг «защиты Алехина». Тщетно! Конь отходил свое: деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам, от холода нельзя устоять и секунды – и, растирая ладонями уши, он шагает – вперед, вперед и вбок, и снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающей огромный круглый, лишь горизонтом отороченный, стол. И вдруг он видит: там, впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная из острых готических букв – колючая и верткая многоножка. Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их: это его имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем осьмнадцатibuквое БАРОН фон МЮНХГАУЗЕН не теряет времени: выгибая слоги, оно скользким ползом внезапно к выставившемуся из земли пограничному столбу: на столбе доска, на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы, вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя – далеко ль? В это время – Мюнхгаузен ясно видит – шлагбаум быстро опускается: бело-красные полосы ударили по восьмой букве, и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги: МЮНХГАУЗЕН – по ту сторону столба, БАРОНФОН – по эту. Став на чернилоточащем Н, бедное БАРОНФОН мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба: СССР. С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль: бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую – вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось, в ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих башмаков и в одних носках по ледяному насту; холод хватает за пятки, в отчаянии он мечется из стороны в сторону и... просыпается.

Правая туфля сползла с ноги и под пяткой прохладный вощенный квадрат паркета. О стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлало ночью. Кукушка на камине кричит семь раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.

Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток: сначала появляется король биржи, через минуту – дипломатический туз. Затем – старая леди, посвятившая себя спиритизму; когда, наконец, над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии, Мюнхгаузен, радушно подымаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока:

– Коронка до валета. Прошу к нам в игру. Вас только и недоставало.

Но сверх тех, которых недоставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло.

Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае; с министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает:

– Вчера у Питшлей мы вызывали дух Ли-Хунг-Чана: «Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет – стукни два раза». И представьте, Чанг стукнул два раза.

В это время внизу у двери двойной удар молотка.

– Неужели Ли? – вскакивает хозяин, готовый радушно встретить призрака.

Но на пороге слуга.

– Его святейшество епископ Нортумберлендский.

И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.

Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с клюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам, затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть: сначала у краев, потом по раковинному хрящу – внутрь и внутрь и, свертываясь, как листья по осени, ухо за ухом, бесшестельно и тихо, одно за другим – на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь.

– Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, – шевелит клубы дыма голос рассказчика, – было свежее, осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры св. Петра, перешел площадь, охваченную колоннадой Бернини, и повернул влево в узкую Борго сан-Анджело. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните пыльные окна с «*antichità*»<sup>10</sup> и лавчонки особого рода комиссионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возратить ее вам без сольди, но с папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогою цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джеттатуры от сглазу и полный набор прахов – от св. Франциска до св. Януария включительно, – аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах св. Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам: «Может быть, синьор удовлетворится св. Урсулой?» Я отрицательно покачал головой: «Я мог бы услужить синьору св. Пачеко: чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое: «*Der heilige Niemand*»<sup>11</sup>. Хозяин был, очевидно, честным человеком – он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке: это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы включенной пакли. «Что это?» – обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы прахопродавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавший в ритуале апостолизирования Пия Х. Как это всем известно, при посвящении папы над тонзурой избранника сжигают кусок

---

<sup>10</sup> Древностями (*итал.*).

<sup>11</sup> Святой Никто (*нем.*).

пакли, произнося сакраментальное «sic transit gloria mundi»<sup>12</sup>. И вот, как клялся мне хозяин лавки, которому я не имел основания не верить, – во время совершения этой церемонии над Пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму: «Синьор может сам убедиться, – раскрыл прахопродавец коробочку, – что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил – я прибавил: в результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же – двумя часами спустя – в поезде Рим – Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Palazzo Rosso: для любителя неосуществимостей, к каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз поучительным. Окна в вагоне были открыты; сырой воздух марены, затем ближе к Генуе, ряд туннелей, смена духоты сквозняком, – меня продуло, и уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением ее и пакля, вложенная в уши, радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и правое ухо по клочку папской ваты. И тотчас же... О, если бы вы знали, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли, рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал: если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника; если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышание, то каким образом громкие голоса тише еле слышимого хода часов. Расстроенный, я покинул собрание, прошел мимо беззвучно говорящих ртов и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал: «mançia»<sup>13</sup>. Слово было сказано старухой-нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее: опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол – простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно – что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю gloria mundi; и что сквозь нее не пройти ничему преходящему, пекущемуся о славе мирской. Несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторговцу с Борго сан-Анджело: но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают в слух?

Погруженный в тягостное размышление, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристней и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некоторую *скользкость*? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее: слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости (все-таки из воздуха) застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся-таки проскользнуть меж скользких волокон и впрыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка: наружная поверхность их была под грязноватым налетом. Очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я, прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, спустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растоплен-

<sup>12</sup> Так проходит мирская слава (лат.).

<sup>13</sup> Подаяния (итал.).

ным на свечке гусиным жиром. Часы напоминали мне, что через какие-то минуты заседание конгресса возобновится. Проходя по кулуарам, я слышал смутные голоса из зала: значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запаклеванные уши в зал: конгресс был в сборе – на кафедре стоял благообразного вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елеин улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, к кому адресовалась ругань: зал благоговейно слушал, и сотни голосов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимся на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами и оратору кричали: «кретин», «льстяга», «флюгер», «подлец», – в ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши... то есть как раз наоборот, ототкнул их: оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классовой борьбой: отовсюду слышалось – «браво», «вашими устами истина», «как метко и тонко». Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил процедить сквозь мою деглориоризирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в...

И рассказ продолжается. Кукушка кричит одиннадцать и двенадцать и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел, а хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И вокруг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали: тонкие усики их уже за Ла-Маншем, грозя додлинниться до самых дальних меридианов земли. Афоризмы барона, он это знает, на пюпитрах обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня, рассказы и старинные историйки, начатые у сизого тягучего дымка трубки, дымными туманами оползают коттеджи сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки, от языка к языку, и в неслышавшие уши. И, шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет:

– Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.

## Глава III

### Ровесник Канта

Хотя барон фон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но «сделанный» дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без усталости стучался в дубовую створу двери, телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена: среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно отшпиганное – старинным шрифтом по картону – извещение: группа почитателей просит высокоуважаемого барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное двухсотлетию деятельности высокопочитаемого барона. Юбилейный комитет. Сплендид-отель. Дата и час.

Парадные покои Сплендид-отеля изолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале задрапированный герб Мюнхгаузенов: по диагонали щита пять геральдических уток – клюв, хвост, клюв, хвост, клюв – летели, нанизанные на нить; из-под последнего хвоста латинскими литерами: mendace veritas <sup>14</sup>.

Вдоль длинных, древнеславянским мыслете расставленных столов – фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы и восторженные «гип» вслед за пробками взлетали к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика:

– Леди и джентльмены, – начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы, – в Евангелии сказано: «В начале было слово». Это значит: всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхгаузен, всегда верно служили фикции: мой предок Гейно участвовал, вместе с Фридрихом II, в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир: меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники, и было бы несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем «Критики разума»: так, Кантово положение: «Познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт», – я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привношу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной, если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались – так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в обезоруженных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов кенигсбергского старца: «Человек для человека – цель и ничем, кроме цели, быть не должен». Мистер Шоу, – повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами мыслете, – в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем *хотеть* своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернارد, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия: не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность, достаточно, чтобы *другие* захотели мне, Мюнхгаузену, долгой жизни, и вот я (голос оратора дрогнул) силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы: вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я

---

<sup>14</sup> Лживая правда (итал.).

списываю со счета двести. В дальнейшем – как угодно: подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто.

Но последние слова были смыты волной аплодисментов, хрусталь зазвенел о хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра, он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими дымящимися лысинами, проследовал мимо танцующих пар в курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре ноль. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал:

– Я уже бывал в тех широтах лет полтора тому назад и не знаю, право... вы толкнули маятник – он качается меж да и нет. Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них, и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается неоглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствование покойной приятельницы моей императрицы Екатерины II, впрочем, я отклоняюсь от вопроса, поставленного в упор.

Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное внимание:

- Просим.
- Прелюбопытно бы узнать...
- Я весь внимание.
- Слушаем.

Кто-то из недослужившихся, взмахнув фрачным двуххвостием, побежал к дверям и замал руками на танцующих: фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал:

– Когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону – расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменили наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и... но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего возницы, о случае с лошадьё, повисшей на колокольне, и множестве других, – всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отченок, – остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ, некий Дени Дидро: это был – на мой взгляд – пренесносный кропатель философем, выскочка из мещан и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терплю материалистов, людей, любящих напоминать – кстати и некстати, – что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота, а букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое *на самом деле*? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба: Дидро и я. Не скрою: вначале императрица благоволила как будто больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке: Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты:

об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я спокойно, отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся, по соизволению царицы, за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу: у местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои – вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните? – опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, притом с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я, явившись к царице, уже успевшей несколько разочароваться в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот в пушном промысле. В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор: четверо дюжих гайдуков с плетями в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животное, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками, шерстинки – тут же на глазах – длиннелись в шерсть, и вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать, но, увы, лишь затем, чтоб снова очутиться у столба, под нахлестом плетей. И так – вы представляете себе – до семи шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил семь шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: «Семьсот процентов чистой прибыли». Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «гораздо», ее величество, собственной рукою зачеркнув всюду «лисицы, лисицам, лисиц», изволила проставить: «люди, людям, людей» и «исправленному верить. Екатерина». Оригинальный ум, не так ли?

Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал:

– После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если б его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть запанибрата и с истиной и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню, хе-хе. Бедняге не на что было убраться восвояси – пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку: приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и сто тысяч душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины, – я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж: среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб; входят и выходят из избы через трубу, вместе с дымом, над колодцами, непонятно для чего, длинные шлагбаумы, притом часто в стороне от дорог; бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в семь этажей, называемых у них «полками». Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов чужбины мне часто вспоминался мой родной Баденвердер: острые аксан-сирконфлекс его черепичных кровель, старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стен. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время, с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям, ягдташ мой никогда не бывал пуст, – и вскоре слава обо мне, как об охотнике, – кое-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник, – прошла от Белых вод до Черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам – турки. Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотни-

чий штуцер на гвоздь, взять в эти вот руки, говоря фигурально, двести тысяч ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не считал возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял тысячу, нет, две тысячи пушек; столько пушек, что некуда было их девать, – коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одно из таких боевых затиший я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из четырнадцати золотых крестов с бриллиантами: верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрее, чем спицы колес двуколки, к которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я заметил, что все россияне были без шапок; поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению к триумфатору, но и после того, как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы, снова замелькали версты – и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий... – выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел: и эти без шапок. «Накройсь», – скомандовал я, и, тысяча дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?!» – повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит, – приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, – что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосх...»

В ту же ночь внезапная мысль разбудила меня под пологом фельдмаршальской палатки. Я встал, оделся и, не будя ординарцев, вышел на линию передовых постов; два коротких слова – пароль и лозунг – открыли мне путь к турецкому лагерю. Турки не успели еще выкарабкаться из-под груд засыпавших их шапок, и я беспрепятственно добрался до ворот Константинополя, но и здесь, так как многие из шапок дали перелет, все, по самые кровли, было засыпано шапочным градом. Придя к дворцу султана, я назвал себя и тотчас же получил аудиенцию. План мой был чрезвычайно прост: скупить все шапки, засыпавшие войска, жителей, улицы и пути. Султан Махмуд сам не знал, куда девать как снег на голову свалившиеся шапки, и мне удалось скупить их за бесценок. К тому времени осень превратилась в зиму, и население России, оставшись без шапок, мерзло, простужалось, роптало, грозя бунтами и новым смутным временем. Правительство не могло опереться и на знать: лысые головы сенаторов мерзли в первую голову, и горячая любовь к престолу заметно охлаждалась с каждым днем. Тогда я погрузил корабли и караваны с моими шапками и через нейтральные страны направил в мириадоголовую Россию; товар шел чрезвычайно бойко, и чем ниже падала ртуть в термометрах, тем выше ползла цена.

Вскоре миллионы шапок вернулись к своим макушкам, и я стал самым богатым человеком в разоренной войной и контрибуциями Турции. К тому времени я успел сдружиться с султаном Махмудом и решил вложить свои капиталы в дело восстановления страны. Однако дворцовые интриги заставили султана вместе со мною и гаремом переменить резиденцию: мы переехали в Багдад, богатый если не золотом и серебром, то сказками и преданиями. И я опять затосковал о моем далеком, пусть убогом, но близком сердцу Баденвердере. Когда я стал просить у моего венчаного друга отпустить меня на родину, султан, роняя слезы в бороду, говорил, что не переживет разлуки. Тогда, желая, по возможности, укоротить время предстоящих нам разлук, потому что и я не мог жить, хоть изредка не навещая родового гнезда моих дедов и прадедов, – я решил соединить Баденвердер и Багдад стальными параллелями рельс. Так возник, увы, не скорождавшийся своего осуществления, проект Багдадской железной дороги. Мы почти уже приступили к работе, но...

Барон вдруг прервал свой рассказ и замолчал, вперив глаза в мерцающий глаз лунного камня на указательном пальце правой руки.

– Но почему же вы остановились на полдороге? – сорвалось с чьих-то уст.

– Потому, – обернулся на голос барон, – что в то время железная дорога, видите ли, еще не была изобретена. Всего лишь.

По кругу пробежал легкий смех. Но барон оставался серьезным. Наклонившись к дипломатическому лицу, он тронул лицо колено и сказал:

– Воспоминания овладели мной. Согласен. Еду. Как это говорит их пословица: «Когда русский при смерти, немец чувствует себя вполне здоровым». Хе-хе...

И, подняв голос навстречу протянувшимся отовсюду ушам, добавил:

– О, наша геральдическая утка никогда еще не складывала крыльев.

Затем последовали рукопожатия, шарканье ног, а через минуту швейцар у вращающихся стекол подъезда Сплендид-отеля кричал:

– Авто барона фон Мюнхгаузена!

Щелкнула дверца, сирена рванула воздух, и кожаные подушки, мягко раскачиваясь, поплыли в торжественную, иллюминированную звездами и фонарями, ночь.

## Глава IV

### In Partes Infidelium <sup>15</sup>

Оферта и акцепт получили деловое оформление. Барон уезжал в Страну Советов в качестве корреспондента двух-трех наиболее видных газет, поставляющих политическое кредо в семизначном числе экземпляров самым отдаленным меридианам Соединенной империи. От акцептанта требовалось возможно строгое инкогнито, вследствие чего количество цилиндров, черневших под окнами вагона, предоставленного барону фон Мюнхгаузену, было весьма ограничено, а кодаки и интервьюеры и вовсе изъяты. За минуту до отправного сигнала барон оказался на площадке вагона: на голове у него круглилась поношенная серая кепка, из-под пальто-клеша поблескивала кожаная куртка, на ногах – сапоги гармоникой. Костюм вызвал одобрительное качание цилиндров, и только епископ Нортумберлендский, пришедший взглянуть на барона, быть может, в последний раз, вздохнул и сказал: *In partes infidelium, cum Deo* <sup>16</sup>. Amen.

Дипломатическое лицо, подтянувшись на ступеньку, сделало знак отъезжавшему, – тот нагнулся.

– Дорогой барон, не шутите с перлюстраторами. Подписывайте чужим именем, как-нибудь там...

Барон кивнул головой:

– Понимаю: «Зиновьев» или...

Но поезд, лязгнув буферами, тронулся. Лицо подхватили под локти, цилиндры приподнялись над головами, занавеска за уплывающим окном задернулась, – и недосказанные слова вместе с недосказавшим – отправились.

Дувр. Ла-Манш. И снова задернутая занавеска – мимо гудящих дебаркадеров, – вычитание километров из километров.

Только один человек на всем континенте знал о дне и часе, когда Мюнхгаузен будет проезжать через Берлин. Это был Эрнст Ундинг. Но письмо, отправленное ему из Лондона, не сразу нашло адресата. Венец сонетов, над которым работал в это время поэт, выглядел, словно он был из терна – в мозг, и платил бессонницами, отнюдь не пфеннигами. И Ундинг, после тщетных препирательств с голодом, принужден был принять предложение косметической фирмы «Веритас» разъезжать в качестве агента фирмы по городам и городкам Германии. Письмо несколько дней кряду гонялось за ним, обрастая штемпелями, пока адресат не был достигнут им в городе Инстербурге на линии Кенигсберг – Эйткунен, в тридцати с чем-то километрах от границы. Письмо пришло как раз вовремя. Сопоставив цифры путеводителя с данными письма, Ундинг легко высчитал, что берлинский поезд, с которым должен ехать Мюнхгаузен, пройдет сегодня в девять тридцать вечера мимо Инстербурга. Карманные часы показывали восемь пятьдесят. Боясь опоздать к встрече, Ундинг оделся к вокзалу. В назначенное время берлинский экспресс подкатил к перрону. Ундинг быстро прошагал вдоль поезда – от локомотива к хвосту и обратно, – заглядывая во все окна: Мюнхгаузена не было. Через минуту поезд опростал рельсы. В недоумении Ундинг отправился в станционное бюро: тот ли поезд и когда следующий. Бюро ответило: тот, следующий дальнего следования к границе через два часа с минутами. Ундинг заколебался: дела вынуждали его с десятичасовым в Кенигсберг – в кармане уже лежал билет. Повертев в руках картонный прямоугольник, он прокомпо-стировал его в кассе и, сев на скамью внутри вокзала, стал следить глазами кружение часовой стрелки на стене. Он ясно представлял себе близившуюся встречу. Окно вагона упадет вниз, над ним протянутая рука Мюнхгаузена – длинные костистые пальцы с лунным бликом на ука-

---

<sup>15</sup> В чужие края (лат.).

<sup>16</sup> С Богом (лат.).

зательном; ладони встретятся, и он, Ундинг, скажет, что если б в мире и не было иной реальности, кроме этого вот рукопожатия, то... За стеной загрохотало: экспресс. Ундинг, стряхнув мысли, бросился к выходу на перрон: надвигающиеся огни паровоза, шипение тормозов – и снова вдоль вагонов, до фонаря, красным карбункулом выпятившегося с последней стенки последнего вагона: ни одно из окон не упало вниз, ничей голос не окликнул, ничья рука не протянулась навстречу руке. Ударило медь о медь – и снова голые рельсы. Поэт Ундинг долго стоял на ночном перроне, обдумывая ситуацию: было совершенно ясно – Мюнхгаузен *изменил маршрут*.

Наутро, сидя в дешевом номере одной из кенигсбергских гостиниц, Ундинг набросал стихи, в которых говорилось о длинном, в сорок-пятьдесят вагонов-годов, поезде, груженном жизнью, годы, лязгая друг о друга, берут крутые подъемы и повороты; равнодушные стрелки переводят с путей на пути, кровавые и изумрудные звезды гороскопов пророчествуют гибель и благополучия, пока катастрофа, разорвав все сцены годов с годами, не расшвыряет их врозь друг от друга, кромсая и бессмысля, по насыпи вниз.

После этого, уж если пользоваться образами Ундинга, прокружили дни одного года, лязгнув буферами, стал надвигаться следующий с календарной пометой поверх пломбированной двери «1923», когда имя Мюнхгаузена, исчезнувшее со столбцов всех газет мира, снова появилось на первых страницах официозов Англии и Америки. От этого огромные тиражи их гигантизировались. Впрочем, не только тиражи: и глаза людей, раскупавших корреспонденции барона Мюнхгаузена, неизменно расширялись, как если б в его сообщениях был атропин. И только одна пара глаз, наежившаяся колючими ресницами, внутри красных каемок век, встретившись с подписью Мюнхгаузена, сузила зрачки и дернула бровью. Чьи они были, эти два недоверчивых глаза, говорить излишне.

## Глава V

### Черт на дрожках

Тем временем строки мюнхгаузиад, как селитренные нити огонь, перебрасывали вновь вспыхнувшее имя от свечи к свече, и вскоре вся увитая мишурой и путаницей, блестящей канители, мировая пресса оделась, как рождественская елка, в желтые язычки. Еще неделя, другая, месяц – и имени барона стало тесно в газетных листах: выскочив из бумажных окладышей, оно ползло на афишные столбы и качалось буквами световых реклам – по асфальтам, кирпичу и плоским доньям туч. Афиши возвещали: барон фон Мюнхгаузен, только что вернувшийся из Страны Советов, прочтет отчет о своем путешествии в большом зале Королевского Общества в Лондоне. Кассы осаждались толпами, но внутрь старинного здания на Пикадилли вошли лишь избранные.

В обещанный афишами час на кафедре появился Мюнхгаузен: рот его был еще спокойно сжат, но острый кадык меж двух углышков крахмального воротника слегка шевелился, как пробка, с трудом сдерживающая напор шампанского. Долгий грохот аплодисментов переполненного зала заставил лектора склонить голову и ждать. Наконец аплодисменты утихли. Лектор обвел глазами круг: у локтя стакан и графин с водой, слева экран для волшебного фонаря, прислоненная к экрану лакированная указка, похожая на непомерно раздлиннившийся маршальский жезл. И отовсюду – справа, слева и спереди навстречу словам сотни и сотни ушных раковин; даже мраморные Ньютон и Кук, выставившись из своих ниш, казалось, приготовились тоже заслушать доклад. К ним-то и обратил барон Иеронимус фон Мюнхгаузен свои первые слова.

#### 1

– Если некогда капитан Кук, отправившийся открывать дикарей, был ими съеден, то, очевидно, мои паруса попали под удар более милостивых ветров: как видите, леди и джентльмены, я жив и здоров (легкое движение в зале). Великий британский математик, – протянул оратор руку к нише с Ньютоном, – следя падение яблока, оторвавшегося от ветки, перечислил движение сфероида, называемого «земля», этого гигантского яблока, некогда тоже оторвавшегося от солнца; слушая на ночных перекрестках Москвы их распеваемую всеми и каждым революционную песнь о «яблочке», я всякий раз пробовал понять, куда же оно, в конце концов, покатилося. Уточню: и докатилось. Но к фактам. Отправляясь в страну, где все, от наркома до кухарки, – правят государством, я решил так или иначе разминуться с русской таможней; не только в голове, но и в кармане моей куртки я вез кое-какие слова, не предназначенные для осмотра. До Эйткунена я не предпринимал никаких шагов. Но когда вагон, в котором я находился, проехав крохотное буферное государственье, собирался ткнуться буферами в границу РСФСР, я решил устроить пересадку: с рельсов на траекторию. Как вам, вероятно, известно, леди и джентльмены, я умел в молодости объезжать не только диких коней, но и пушечные ядра. У меня, не считая содержимого моих карманов, не было никакого багажа, и я быстро добрался до одной из пограничных крепостей, обратившей свои жерла к Федерации республик: любезный комендант с фамилией, начинающейся на ПШТШ, узнав из бумаг, кто я, согласился предоставить в полное мое распоряжение восемнадцатидюймовый стальной чemoдан. Мы отправились к бетонной площадке, на которой, задрав свой длинный прямой хобот кверху, громоздилось стальное чудовище. По знаку коменданта, орудийные номера стали снаряжать меня в путь: орудийный затвор открылся, подкатила тележка с коническим чemoданом, щелкнуло сталью о сталь, и комендант козырнул: «Багаж погружен, просим пассажира занять место». Орудие опустило, как слон, которому дети протягивают сквозь решетку пирожное,

свой длинный хобот, – я вспрыгнул на край, внимательно вглядываясь в дыру: как бы не пропустить нужный миг. Затем залитая железом дыра снова поползла кверху и Пштіш скомандовал: «Трубка 000, по РСФСР господином бароном... пли!» – и... закрыв глаза, я прыгнул. Неужели уже? Но, открыв глаза, я увидел, что сижу под железным слоном, а вокруг все те же улыбающиеся рожи Пштіш'ов. Да, я сразу же должен был признать, что технику не перешагнешь: даже фантазмам не перегнать ее: оседлать современный снаряд не так легко, как прежнюю неповоротливую чугунную бомбу. И только после двух, сознаюсь, неудачных попыток мне удалось наконец оседлать гудящую сталь. Секунд десять воздух свистел в моих ушах, пробуя сдунуть меня со снаряда; но я опытный кавалерист и не выпускал из-под сжатых колен его разгоряченные круглые бока, пока толчок о землю не прекратил полета. Толчок этот был так силен, что я как мяч подпрыгнул вверх, потом вниз, опять вверх, пока не ощутил себя сидящим на земле. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что излетным концом траектория, по счастью, ткнулась в копну сена, стоящую на болоте; правда, сено вплющилось в кочки, но кочки, как рессоры, смягчили удар, избавив меня не только от гибели, но даже от ушибов.

Итак, граница позади. Вскочив на ноги, я прокружил глазами по горизонту. Ровное, незасеянное поле. Низкий потолок из туч, только где-то вдалеке подпертый десятком дымов. «Деревня», – подумал я и направился к дымам. Вскоре из земли выкочковались и дома. Приблизившись на расстояние человеческого голоса, я увидел у края деревни человеческие фигуры, движущиеся от дома к дому, но не стал их окликать. Солнце, как и я, описав свою траекторию, падало к земле; в глухой деревушке зажигались огни, пахло паленым мясом, навстречу мне ползли черные длинные тени, и я, невольно задержав шаги, спрашивал себя: следует ли блюду торопиться к ужину? Положение было трудным: некого спросить, не с кем посоветоваться. Другой на моем месте растерялся бы: но я прибыл в Страну Советов не за советами и после минуты размышления знал, что предпринять.

Дело в том, что сапоги мои были перешиты из старых охотничьих сапог, обладавших некоторыми особенностями. Много лет тому, когда я потерял своего любимого пса, что уже рассказано однажды в моих мемуарах, я решил не отягчать сердца новыми привязанностями, влекущим и новую боль утрат, и стал охотиться без собаки. Ведь собаку могут с успехом заменить хорошие дрессированные сапоги, да-да, – и так как к тшете воспоминаний о погибшем псе присоединилась и старая ревматическая боль, мешавшая мне ходить по болотам, то я с терпением и упорством, свойственным всем из рода Мюнхгаузенов, принялся за дрессировку моих охотничьих сапог. В конце концов мне удалось добиться благоприятных результатов, и мои одинокие прогулки со штуцером за плечами происходили обычно так: дойдя до болотистого места, где водится дичь, я снимал с ног сапоги и, поставив их носками в нужную сторону, говорил: «Шерш! Шерш!» И сапоги, с кочки на кочку, шагали, шурша кожей о камыш, и вспугивали дичь. Мне же оставалось только, сидя на сухом месте, спускать курки. Дичь падала мне внутрь голенищ. После этого короткое «Апорт», – и дрессированные сапоги возвращались назад, чтобы покорно подставить кожаные раструбы под хозяйские пятки.

Так и теперь: стащив сапоги с ног, я поставил их носками к деревне и – шерш. Сапоги, успевшие за несколько дней пребывания в вагоне застояться, быстро зашагали навстречу огням. Они шли, подняв кверху свои петельчатые ушки, то растягиваясь, то приседая на своей гармошке, с видом опытных и осторожных лазутчиков. Я провожал их глазами до самой деревни. Но тут произошло нечто непредвиденное: группа людей, заметив пару сапог, идущих на них, с криками ужаса бросилась врассыпную. Внезапная мысль осенила меня: ведь я в стране суеверов и невежд, что, если паре сапог удастся вселить ужас в эту деревню и в следующую, и в ту, что за ней, – и мы пройдем – пара сапог и я, – гоня перед собой охваченные страхом толпы темного крестьянства, которое, смыв на пути города, заразив древним киммерийским ужасом массы и сонмы, очищая избы и дворцы, хлынут за Урал. Тогда я, подтянув за петельчатые уши подошвы к пяткам, из какого-нибудь Краснококшайска – радиограмму: «Взял Россию голыми

ногами. Подкреплений не надо». И, развивая успех, я поднялся с места, готовый развернуть стратегему до конца, хотя б ценою мозолей на пятках. Но ситуация вдруг резко переменялась: отступившая было деревня, внезапно ошетилившись вилами и кольями, пошла дикой, галдящей ордой в контратаку на мои сапоги. Те было попробовали носками вспять, но было уже поздно. Ревущая орда, крестясь сотнями рук и размахивая вилами, сомкнула кольцо. Затем все смолкло и я не мог видеть, что происходит внутри круга из людей. Подобравшись, сколько мог ближе к попавшим в плен сапогам, я услышал несколько спорящих голосов, вскоре, однако, уступивших чьей-то медленной старческой речи. Отслушав, все разошлись, оставив на месте происшествия лишь одного старика, который, скинув лапти, не торопясь, натягивал на ноги мои сапоги. Выждав, когда старик обулся, я, прячась в высокой траве, сначала тихо свистнул (сапоги, заслышав мой голос, повернули в мою сторону), затем крикнул: «Апорт». Старик хотел было носками к избе, но не тут-то было: сапоги, схватив его дряхлые ноги, зашагали им в противоположную сторону. Тщетно пробовал он, цепляясь руками за кусты и траву, остановить свои ноги, – мои верные сапоги продолжали шагать вместе со стариком, в них вдетым, назад к своему хозяину. Бедняга, видя, что ему не справиться с сильнейшим противником, попытался было спиной на землю, но сапоги, согнув ему ноги в коленях, продолжали тащить тело спиной по земле, пока похититель не очутился передо мной. И я верю, леди и джентльмены, что рано или поздно все национализированное вернется к своим собственникам, как мои сапоги вернулись ко мне. Это же сразу сказал я и поверженному старику, добавив, что стыдно ему, убежденному сединой, менять бога на социализм. Старик, объятый священным ужасом, выдернулся из сапогов и побежал, роняя портянки, к деревне. Вскоре все население деревни вышло мне навстречу крестным ходом с хлебом-солью, кладя земные поклоны, под звон колоколов. Я принял приглашение добрых поселян и остановился на ночлег в их деревне. Пока я спал, слух обо мне, не смыкая глаз, бродил по окрестным селам. К утру у моего окна собралась огромная толпа жалобщиков и просителей. Я выслушал все просьбы и никому не отказал. Например, жители одной деревеньки обратились ко мне за разрешением их давнишнего спора, поделившего деревню на две враждебные стороны. Дело в том, что одна половина деревни занималась извозным промыслом, другая – землепашеством. Но гражданская война уменьшила число лошадей в телеги – плуги хоть на себе тащи; впрячь в плуги – телеги самим возить. Воспоминания помогли мне разрешить этот трудный казус: я приказал принести пилу – и, одна за другой, лошади были распилены надвое, вследствие чего и количество их удвоилось. Передние ноги впрягли в телеги; задние – в плуги, и дело пошло на лад. Так я боролся с безлошадностью, и если б правительство Советов приняло, как в этой, так и в других областях народного хозяйства, мою точку зрения, оно б избежало годов разрухи и оскудения. (По залу шорох аплодисментов.) Крестьяне не знали, как и благодарить меня. Они подарили мне одну из двуногих лошадей, я оседлал ее, и продолжал свой путь, направляясь к ближайшей станции железной дороги.

## 2

Крестьяне предупреждали меня, что близ железнодорожных путей беспокойно и в темную ночь легко попасть в руки бандитов. Не заблудись я в русском бездорожье, я успел бы до сумерек добраться до станции. Но путаные проселки кружили меня до самой ночи. Половина коня устало перебирала двумя копытами, когда я слышал надвигающийся топот множества лошадей. Это была банда. Я пустил в дело шпоры, но на двуногом от четырехногих не укачешь. Вскоре всадники сомкнули вокруг меня кольцо: я протянул руку к эфесу, но вспомнил, что шпага моя осталась в Берлине, в шкафу, на Александер-платце. Бандиты сузили круг: я протянул руку к своему темени, решив выдернуть себя за косу из неподходящего общества (как некогда вытащил себя таким же способом из болота), но, проклятие, – пальцы мои ткну-

лись о стриженный затылок: увы, приходилось сдаться. И я сдался. Впрочем, разбойники не причинили мне ни малейшего зла и вообще отнеслись ко мне радушно, почти как к своему. В ту же ночь они выбрали меня в атаманы. Так как все это происходило ночью, в абсолютной тьме, то не знаю, что руководило этими людьми, может быть, инстинкт.

Скрепя сердце я должен был подчиниться: люди добры, пока им не противоречишь. Например, отношения между мною и вами, леги и джентльмены, построены на том, что я вам не противоречу: вы говорите, что я есмь, хорошо, не будем спорить, – но если вы скажете... Впрочем, вернемся к событиям. Я не честолюбив, и титул атамана мне мало льстил: чуть ли не каждый день я предлагал им меня свергнуть, перейти к республиканскому образу правления и сослать меня, ну хотя бы в Москву. Банда в конце концов и соглашалась отпустить меня, но с тем, чтобы я дал за себя выкуп: деньгами или добрым советом, чем и как хочу. Что ж. Подумав с минуту, я составил план рационализации разбойного промысла. Каждому ясно, что в разоренной стране положение труженика «дубовой иглы» (термин, принятый в их стране) весьма незавидно и хлопотно. Днем ему приходится таиться в лесах, опасаясь встреч с красноармейскими винтовками, и только безлунные ночи дают ему возможность заняться, так сказать, перемещением ценностей, ловить своим карманом укатывающиеся монеты, как энтомолог ловит своим сачком упархивающих бабочек. Таким образом, все лунные ночи, дающие монете лишний шанс ускользнуть, оказывались бездоходными. Вот в одну из таких залитых лунным серебром ночей я вывел банду к опушке леса и, построив ее в ряд, тремя десятками ртов в луну приказал дуть на небесное светило. У людей этих были завидные легкие (русский народ развивает их, раздувая свои самовары): под ветром дружных дыханий луна мигнула, вытянула свои зеленые языки и погасла. Застигнутые врасплох безлунием обозы и путники попали в наши руки.

Еще несколько повторных упражнений, и шайка уже не нуждалась больше в инструкторе. Это привело к ряду затмений последних лет и вообще недостаточно точно объясненных, таинственных явлений на небесном своде: причина кроется, как я это беру смелость заявить здесь в святище науки, в одном из лесов прирубежной России. Мой друг Альберт Эйнштейн, которого я забыл заблаговременно предупредить, несколько поспешил, исходя из этих небесных аномалий, сделать свои последние выводы: то, что можно объяснить экономически, и в этом прав Маркс, не нуждается в астрономических выкладках; в поисках причин незачем рыться в звездах, когда они могут быть отысканы тут вот, под подошвой, на земле. И если найдется впоследствии человек, который, вразрез сказанному, захочет писать о «непогашенной луне», то пусть он остерегается встречи со мною, Мюнхгаузен: я изобличу его во лжи.

(Оратор, оборвав на секунды, наклонил хрусталь графина к стакану; в зале была такая тишина, что даже из последних рядов было слышно бульканье воды в горлышке графина.)

### 3

Тридцать винтовок салютовали мне в час прощания. Оставив за спиной опушку леса, я направился, держа путь на паровозные свистки, изредка ориентировавшие меня в путаном клубке полевых дорог. Наконец я добрался до затерянного на равнине полустанка и стал дожидаться поезда на Москву. Платформа была завалена мешками и кулями, у которых и на которых сидели и лежали люди, поджидавшие, как и я, прихода поезда. Ожидание было долго и томительно. Безбородое лицо моего соседа, расположившегося на пустом (как показалось мне на первый взгляд), но в три узла перевязанном мешке, успело покрыться рыжей щетиной, когда на горизонте наконец показался долгожданный дымок. Поезд полз со скоростью дождевого червя, и я боялся, как бы он, червя подобно, не уполз в землю, оставив над пустыми рельсами лишь серую спираль дымка.

Многим из присутствующих в зале, может быть, покажется странным это мое ощущение, но мне, сангвинику, все медленное, измеренное и тягучее всегда казалось мнимым, нереальным, и, может быть, потому неторопящаяся, вся на замедленных скоростях, переключенная с секундных стрелок на часовые, Россия дала мне целый комплекс призрачностей и ощущений галлюцинаторности. В вагоне, ожидавшемся сигнала к отправке, моим соседом был тот же в рыжей щетине с пустым мешком на плечах человек. Правда, пустота эта неожиданно звякнула при ударе о вагонную полку.

– Что вы везете? – не мог я не полюбопытствовать.

– Шило в мешке, – ответила щетина.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.